

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ

ИДОЛЫ КОНСТРУКТИВИЗМА

Статья вторая

II.3. Сказки Андерсона¹

Интересно отметить: популярность и слава трех главных конструктивистов строго обратно пропорциональна их реальному вкладу в развитие обществознания. Я согласен и готов признать: Хобсбаум, который все же пытается делать ссылки на факты и исследования, несколько умнее и основательнее совершенно пустого Геллнера. Но по большому счету, на статус ученого может претендовать из этой тройки только Бенедикт Андерсон, который, как-никак, попытался подвести исторический фундамент под свою теорию «воображаемых сообществ» и проделал для этого большую самостоятельную работу. Но что это за фундамент?!

Андерсон, видимо, считает всякую скромность ложной, называя собственную книгу о воображаемых сообществах «непревзойденной» и стоящей «на передовых рубежах новей-

шей науки о национализме» (22). Но в середине книги внезапно признается, что его «серьезные специальные познания» ограничиваются регионом Юго-Восточной Азии (181). И вообще, первый вариант «Воображаемых сообществ» был написан по поводу вооруженных конфликтов 1978–1979 гг. в Индокитае, когда автора «тревожила перспектива грядущих полномасштабных войн между социалистическими странами» (21). Если быть точным, Андерсон профессионально занимался лишь новыми государствами Индокитая, возникшими сравнительно недавно, не ранее 150–200 лет тому назад.

С этим-то багажом он и замахнулся на тему колоссального значения, пожав завидные лавры по обе стороны наших границ. Причем по сю сторону, возможно, даже бóльшие: недаром в предисловии под названием «Воображаемые сообщества как социологический феномен» Светлана Баньковская возвела книгу Андерсона в «образцовое социологическое сочинение новейшего времени» (16). Образцовое — то есть представляющее пример для подражания.

Что же в нем образцового?

Как скоро убедится читатель — ничего, кроме апломба и типичных для конструктивиста ошибок и заблуждений. Недаром та же Баньковская замечательно высказалась о книге Андерсона: «Невероятная легкость как симптом невероятной учености». Гоголевский Хлестаков выражался куда сдержаннее!

Образцовость книги Андерсона Баньковская утверждает своеобраз-

Статью первую см.: «ВН», № 10.

¹ Здесь анализируется в основном главный труд Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма» (М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001). Ссылки на страницы даются в скобках. Язык книги ужасен (имею в виду перевод), слова и смыслы сплошь нерусские, неуклюже подделанные под западный понятийный и терминологический лексикон. Иностранцам такое читать не нужно, лучше взять на английском, а русскому адекватно прочесть этот «русский» текст весьма затруднительно. Приходилось все время сверяться с оригиналом.

ным абсурдиком: «Все сообщества, строго говоря, воображаемы. Они существуют лишь постольку, поскольку участвующие в них люди воспринимают себя именно в качестве членов таковых» (5). Зададим себе вопрос: а что, если люди не воспринимают себя в качестве членов сообщества — просто не задумывались об этом или расхотели себя так воспринимать, — перестают ли они ими быть?² Неужели всегда и всюду «мы — то, чем себя вообразили»? Более махровый субъективный идеализм и представить себе трудно.

Чтобы разубедить подобного записного берклианца, есть один хороший проверенный способ. Надо тихонечко, незаметно подкрасться сзади, когда он тебя не видит, и дать здоровенную затрещину! Возмущению подопытного не будет предела: он-то считал, что вы лишь плод его воображения, а этот плод почему-то натурально дерется. Да еще как больно!

Именно такое беспредельное возмущение мы наблюдаем у конструктивистов, когда они сталкиваются с «весомым, грубым, зримым» проявлением наций и национализмов в истории и жизни. С их точки зрения это совершенно алогично и противоестественно: воображенные сообщества не должны так себя вести, не должны так материально проявляться! И не проявлялись бы, конечно, кабы были и впрямь воображенными...

Ошибка Баньковской важна своей типичностью для российской, растерявшей твердые философские ориентиры и строгую школу научной мысли, аудиторией. Суть в том, что дама-социолог подменяет сущность —

«очевидностью»: «Воображение предполагает все-таки некоторое усилие, выход за пределы очевидного» (6).

Но разве всякое сообщество обязательно «очевидно»? Кроме семьи или небольшого племени, таких, пожалуй, и нет, и тут они с Андерсоном правы. Однако есть огромная разница между «неочевидным» и «воображаемым». Неочевиден стул, если стоять к нему спиной, но он, тем не менее, — сущность, он реален. А воображаемый стул — не реален. Такая вот маленькая разница. «Воображенный» — еще не значит «существующий». И в этом весь пафос книги Андерсона.

Назови Андерсон свою книгу «Неочевидные сообщества» — и не было бы претензий: мало ли что кому в данный момент неочевидно. Неочевидные сообщества могут, тем не менее, реально существовать, а воображенные — нет. В первом случае мы остаемся материалистами, а во втором сваливаемся в выгребную яму идеализма.

Недаром последователь нашего автора некий Филдс логически заходит еще дальше, позволяя подчеркнуть абсурдность самого подхода: «Чтобы вообще существовать, все сообщества должны быть воображаемы» (11). В то время как для того, чтобы существовать, надо просто существовать на самом деле — и ничего более!

Для того чтобы так настойчиво пытаться преобразить реальность в вымысел, должна быть чрезвычайно сильная мотивация, подвигающая выполнить задачу, невыполнимую по определению.

В чем она? Чего хочет Андерсон?

Развенчать национализм любой ценой, выставить его как беспочвенную игру воображения. Сознвая грозную силу и растущее значение национализма в современной жизни, Андерсон всячески пытается его принизить. Он, в частности, пишет в сборнике «Нации и национализм»: «Если нам сегодня кажется, что в мировой политике двух последних веков национализм

² Интересно, а в стае диких собак или обезьян ученая дама также увидела бы «воображаемое сообщество», созданное лишь самосознанием индивидов собачьей или обезьяньей породы? Но ведь принципиальной разницы между популяциями разных видов (человека в том числе) нет: это все объективные реальности.

сыграл грандиозную роль, то почему столь многие плодovитые мыслители современности — Маркс, Ницше, Вебер, Дюркгейм, Беньямин, Фрейд, Леви-Стросс, Кейнс, Грамши, Фуко — так мало что сказали о нем²». И в «Воображаемых сообществах» — о том же: «В отличие от других “измов”, национализм так и не породил собственных великих мыслителей: гоббсов, токвилей, марксов или веберов» (30).

Но в этом как раз нет ничего удивительного: именно в указанную эпоху на первый план вышла борьба классов, миру предстояло увидеть величайшие классовые битвы. Лучшие умы предчувствовали, предвидели, а то и наблюдали это (на то они и лучшие), вот и занялись соответствующей темой. Зато очень много о нациях и национализме сказали более ранние мыслители, описывавшие этнические войны, начиная с Геродота, Тита Ливия и Иосифа Флавия. Просто они использовали другие термины. Это во-первых.

Во-вторых: дело в том, что вообще европейская философия как феноменология духа расцвела именно в эпоху, на которую пришлось грандиозные социальные брожения и классовые битвы, начиная с Великой Французской революции, представлявшей материю наполеоновских войн и революций, перевернувших всю Европу вверх тормашками. Философия все это и отразила: тут связь самая прямая. Хотя нельзя сказать, что историософия XX века вообще обошла национальный вопрос, во всяком случае — в русской традиции. Но мы не станем сейчас на этом останавливаться, а заметим лишь главное.

Сегодня маятник качнулся в обратную сторону, и в грандиозных войнах XX века, включая холодные, мы вновь увидели всегдашнюю схватку наций, в том числе за мировое господство, а потому историософы вновь возвращаются к главному конфликту всех времен и народов: национальному. Неудивительно, что сегодня эта тема вышла на

первый план, отодвинув дискурс классовой борьбы. Уверен, что она еще даст своих марксов, ницше и фрейдов.

В-третьих, сознанию вообще свойственно отставать от бытия в процессе его осмысления. Французскую революцию (как и Октябрьскую) осмысливают до сих пор. Эпоха национализма, наиболее яркими проявлениями которого стали Третий Рейх и Израиль, еще слишком близка. Она далеко не окончена, она слишком сильно задевает лично несметное количество живущих ныне людей. Это осложняет отстраненный историософский анализ, бросает вызов мыслителям. Слабейшим из них выход представляется в том, чтобы представить, что на самом деле изучать нечего, ибо предмет изучения — существует только в нашем сознании: он вымышлен, воображен. Это приглушает страх перед жизнью и снимает ответственность с мыслителя, коемy остается только умыть руки.

Андерсон стоит в первом ряду таких мыслителей, робких и дерзких одновременно (робких до дерзости). Парта Чаттерджи в известной статье «Воображаемые сообщества: кто их воображает?» так отразил его вклад: «Бenedикт Андерсон весьма изящно и оригинально продемонстрировал, что нации не являются окончательными продуктами конкретных социологических обстоятельств, таких, как язык, раса или религия; в Европе и во всем остальном мире они обрели бытие благодаря воображению... Книга Андерсона в последние несколько лет имела наибольшее влияние на развитие новых теоретических идей о национализме»³.

Сам же Андерсон в поддержку своей позиции с удовольствием цитирует ехиднейший пассаж такого же, как он сам, марксиста Тома Нейрна, именующего «благожелательным (?)» исследователем национализма: «“Национализм” — патология современно-

³ Нации и национализм. М., 2002. С. 285.

го развития, столь же неизбежная, как “невроз” у индивида, обладающая почти такой же сущностной двусмысленностью, что и он, с аналогичной встроеной вовнутрь нее способностью перерастать в помешательство, укорененная в дилеммах беспомощности, опутавших собою почти весь мир (общественный эквивалент инфантилизма), и по большей части неизлечимая». Да уж, благожелательность так и фонтанирует!

Однако если и можно видеть в чем патологию, так это именно в марксистском классовом сознании, перемноженном, как у наших конструктивистов, на субъективный идеализм берклианского толка. А потому не способном осознать ни феномен нации, ни существо национализма.

Продемонстрирую этот вывод на материале книги, проведя анализ ее основных понятий и главных, по мнению Андерсона, факторов нациеобразования.

Он пошел туда, не знаю куда, и принес то, не знаю что

Так же, как и Геллнер, и Хобсбаум, Андерсон застрял на первом же шаге: на понимании феномена нации. Он горько сетует на неразработанность как в либеральной, так и в марксистской традиции базовых понятий и определений:

«Нацию, национальность, национализм оказалось очень трудно определить, не говоря уж о том, что трудно анализировать. На фоне колоссального влияния, оказанного национализмом на современный мир, убогость благовидной теории национализма прямо-таки бросается в глаза. Хью Сетон-Уотсон, автор самого лучшего и всеобъемлющего текста о национализме в англоязычной литературе и наследник богатой традиции либеральной историографии и социальной науки, с горечью замечает: “Итак, я *вынужден* заключить, что никакого «научного определения» нации разра-

ботать нельзя; и вместе с тем феномен этот существовал и существует до сих пор”. Том Нейрн, автор новаторской работы “Распад Британии” и продолжатель не менее богатой традиции марксистской историографии, чисто-сердечно признается: “Теория национализма представляет собой великую историческую неудачу марксизма”. Но даже это признание вводит в некоторой степени в заблуждение, поскольку может быть истолковано как достойный сожаления итог долгого, осознанного поиска теоретической ясности. Правильнее было бы сказать, что национализм оказался для марксистской теории неудобной *аномалией*, и по этой причине она его скорее избегала, нежели пыталась как-то с ним справиться» (28).

Очень меткое наблюдение. У марксизма, как уже отмечалось, нет шансов для понимания национализма, это взаимоисключающие дискурсы. Марксист онтологически не способен понимать феномен нации, для него это именно аномалия, не укладывающаяся в односторонний дискурс ни классового, ни политэкономического подхода⁴. Но на

⁴ Андерсон ищет опору в словах Сетон-Уотсона: «Все, что я могу сказать, так это, что нация существует тогда, когда значительное количество людей в сообществе считают себя образующими нацию или ведут себя так, как если бы они ее составляли» (*Seton-Watson. Nations and States*, p. 5; прим. пер.: «считают себя» можно перевести и как «воображают себя»). Интересно, если нацию характеризует такое трогательное духовное сплочение, как бы Андерсон, Сетон-Уотсон и их единомышленники откомментировали бы гражданскую войну внутри одной нации? Наверное, соблазнились бы узреть «две нации» в одной нации, как это и сделал Ленин, только в более буквальном смысле. И тогда повели бы речь о национально-освободительной борьбе одной нации против другой: так это делал когда-то Ленин, так это делают сегодня Соловей и Сергеев. Все очень логично, жаль только, неверно по существу.

этих коньках, как мы уже знаем, в теорию нации не введешь, тут нужны другие, этнополитические подходы, которых марксистам не дано по определению.

Сие мы видим и на примере самого Андерсона. Забавна и показательна его обиженная ссылка на Маркса, выдающая бессильное недоумение перед феноменом национальности, что и характерно для настоящего марксиста:

«Чем... объяснить, что Маркс не растолковал ключевое понятие в своей памятной формулировке 1848 г.: “Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со *своей собственной буржуазией*”? И чем... объяснить, что на протяжении целого столетия понятие “национальная буржуазия” использовалось без сколь-нибудь серьезных попыток теоретически обосновать уместность содержащегося в нем прилагательного? Почему теоретически значима именно эта сегментация буржуазии, которая есть класс всемирный, поскольку определяется через производственные отношения?» (28).

Как же так: выходит, сам основоположник марксизма косвенно признает существование не какой-нибудь всемирной, а именно национальной буржуазии, но при этом не дает своим верным адептам ключа к этому понятию, представляющему, с точки зрения марксизма, жестокий оксюморон! Обидно...

Посетовав на труднопостижимость проблемы, Андерсон, по примеру коллег, приступает к главке под названием «Понятия и определения», что похвально. Да только вот получается у них это прямо по русской пословице: «начал гладью, а кончил гадью». Не даются им дефиниции, ускользают из рук!

В отличие от Маркса, Андерсон не допускает даже мысли о реальности наций: «Отправной точкой для меня стало то, что национальность — или, как было бы предпочтительнее сфор-

мулировать это понятие в свете многозначности данного слова, *национальность* (nation-ness), а вместе с ней и национализм являются особыми родами культурными артефактами» (29).

Факт отождествления Андерсоном нации и национальности говорит о том, что и этот марксист не справился с дефиницией, элементарно запутался, как многие, в двусмысленных, многозначных английских лексемах.

Естественно, что выход Андерсон видит там, где его не существует. Он стремится показать, что наций нет в принципе, а есть лишь воображаемые сообщества, которым по тем или иным соображениям небескорыстные политики наклеивают этот ярлык:

«Я предлагаю следующее определение нации: это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное. Оно воображенное, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности» (30–31).

Интересные люди, эти западные марксисты! Ведь это вновь перед нами берклианство в чистом виде, против которого основоположники бились насмерть: я не вижу тебя, значит, ты существуешь только в моем воображении. С этой точки зрения и микробы — воображаемое сообщество, ведь мы и их тоже никогда не видели. Налицо запредельный, злостный идиотизм субъективного идеализма. Как будто перед нами махровый деревенщина, привыкший доверять только собственным глазам и не верящий ни в каких «микробов», не признающий никаких абстракций. А вот поди ж ты — высокообразованный марксист!

Хотелось бы спросить Андерсона: а как в таком случае быть с такой общностью, фундаментальной для марксизма, как класс? Готов побиться об

заклад, что никогда рабочие Владивостока не видели в глаза рабочих Калининграда, или Глазго, или Торонто, или Бразавиля. Не отнести ли к «воображаемым сообществам» и эту социальную абстракцию?⁵ Но к кому же тогда был обращен лозунг Карла Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»?

При этом Андерсон, на первый взгляд, благоразумно дистанцируется от оголтелого Геллнера, а на деле доходит до сугубой оголтелости. Цитируя его максималистский тезис: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует», Андерсон критикует его с еще более максималистских позиций: «Геллнер настолько озабочен тем, чтобы показать, что национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает “изобретение” к “фабрикации” и “фальшивости”, а не к “воображению” и “творению”. Тем самым он предполагает, что существуют “подлинные” сообщества, которые было бы полезно сопоставить с нациями. На самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые» (31).

Ну что ж, стало быть, и рабочие как класс не существуют за рамками одного цеха, много — завода...

⁵ Невероятно, но марксист Андерсон в своей погоне за «воображенными сообществами» в конечном счете именно так и поступил: договорился даже и до воображенности классов. Так, он пришел к мысли, что четырехчленная «классовая структура» (правители, дворяне, простолюдины и рабы), обнаруженная конкистадорами на Филиппинских островах, есть лишь «учетный» образ, созданный воображением простаков с испанских галеонов» (184). Приехали... Конечно, испанцы XVI века не владели марксистской терминологией, по простоте душевной, но значит ли это, что в их эпоху классов не было, в том числе на Филиппинах?

Какой дешевый парадокс нам предлагает Андерсон! А ведь попросту запутался в мнимом противоречии логического (абстракции) и исторического (конкретии), которое отлично известно философам и давно никого не смущает, его учат преодолевать («снимать») еще на студенческой скамье. Нет, он явно не проходил основ диамата и истмата!

Но так можно поставить под сомнение и обозвать воображаемой любую абстракцию: воду, потому что мы не можем искупаться одновременно во всей воде мира или попробовать ее на вкус (а ведь она разная!); или воздух, ибо мы способны дышать только тем, что вокруг нас... Радиус действия наших органов чувств ограничен, а любая абстракция не имеет концов и начал: вот и поди познай ее непосредственно.

Но принцип «не вижу — следовательно, воображаю несуществующее» вряд ли устроит научно мыслящую особь. Что же, науке следует отказаться от абстракций? Нелепое предложение, не правда ли?

Но не менее нелеп и ход от обратного: «то, что я (мы) уже вообразил(и), реально существует именно в силу этого». Между тем на этот компромисс особенно охотно идут некоторые работники умственного труда в России, которым не хватает бессовестности открыто признать, вслед за геллнерами-андерсонами, что нация есть конструкт, но и не хватает смелости сказать, что король, явившийся к нам в блеске славы с Запада, — голый.

Новенькие «нации» Андерсона

Почему Андерсон, вопреки исторической очевидности, ведет отчет нациям не с их исходных исторических позиций, восходящих к Шумеру и Вавилону, а с конца XVIII века? Потому что именно тогда массово появляются искусственные, сотворенные волей человека сообщества, которым некая традиция, восходящая к аббату Сийесу и Эрнесту Ренану, произвольно и не

без задней мысли присвоила имя «наций». Что позволило их искусственность возвести в перл творения и выдать за эталон. И этим породить волны недоразумений.

Андерсон сознательно вошел в эту традицию и возглавил ее на современном этапе. Он не случайно обращается к сравнительно новым, недавно созданным государствам, полагая именно в них образец «наций». Это, с одной стороны, государства Латинской Америки, а с другой — и вовсе вчера (по историческим меркам) созданные государства Юго-Восточной Азии (Аннам, Камбоджа, Сиам, Лаос, Тонкин, Кохинхину, Филиппины, Малайя, Сингапур, Бирма, Индонезия и проч.), а также Африки (Гвинея, Мали, Берег Слоновой Кости, Сенегал, Мозамбик, Танзания, Замбия и проч.). Таков был отчасти материал его диссертации, что и породило излишне гипертрофированное представление о значительности данных примеров для мирового опыта.

Но мало ли какие нынешние сообщества, имеющие очевидно антропогенное происхождение, являются на деле лишь модифицированными вариациями природного материала? Русская борзая, к примеру, в дикой природе не встречается, эта порода — плод усилий многих поколений селекционеров, но это не повод утверждать, что на Земле до ее появления не было собак! Точно так же появление на карте Французской Республики, Соединенных Штатов Америки, латиноамериканских, индокитайских или африканских государств вовсе не означает, что история наций начинается с них.

Андерсон принципиально игнорирует тот факт, что народы и нации бывают естественными (нации Старой Европы в своем большинстве) — и искусственными, как в обеих Америках, Франции, Индокитае или Африке. Он не только пытается не замечать это различие, но и пытается выдать латиноамериканские, буквально вчера

произвольно созданные руками людей, произвольно сконституированные псевдонации — за эталон (89–90). Оказывается, перуанцы, гватемальцы, боливийцы и проч. — это эталонные нации. Обхохочешься! Опять нам пытаются «впарить» морскую свинку, которая на деле и не морская, и не свинка! А старые, заслуженные нации Старого Света — немцы, поляки, русские — это, стало быть, некое недоразумение, которое подлежит испытанию, проверке указанным эталоном.

Все без исключения примеры якобы истинных наций Андерсона — это новые государства, «нациям» этим без году неделя. На фоне старых, настоящих, веками проверенных наций всего мира (от немцев до эфиопов) — это новорожденные инфузории, чья судьба пока подвешена на волоске и представляет сплошной вопрос. Их границы, не имеющие этнического соответствия, зыбки и непрочны. Пограничные войны Китая с Вьетнамом, Эфиопии с Сомали, Грузии с Абхазией и Южной Осетией, Армении с Азербайджаном, Сербии с Косово (и др.) позволяют уверенно говорить о том, что процесс приведения политических, государственных границ в соответствие с границами того, что действительно заслуживает названия наций, будет происходить долго, а может быть — и всегда, как он всегда и шел до того. Одна из гарантий тому — категорическая неприемлемость нынешних границ России и проблема разделенной русской нации, оставленная нам в наследство коммунистами-интернационалистами. Вглядимся поближе в наглядный пример, приводимый Андерсоном, чтобы разобратся в злокачественности его идей.

Он пишет о тех революциях и войнах, что принесли суверенитет 18 бывшим колониям в Латинской Америке:

«Это были движения за национальную независимость. Боливар позже

изменил свое мнение о рабах⁶, а его соратник Сан-Мартин в 1821 г. постановил, дабы «в будущем местных жителей не называли более индейцами или туземцами; они дети и граждане Перу и впредь будут известны как перуанцы»...

Итак, здесь есть загадка: почему именно креольские сообщества так рано сформировали представление о том, что они нации, — задолго до большинства сообществ Европы (это утверждение на совести Андерсона. — А.С.)? Почему такие колониальные провинции, обычно содержавшие большие, угнетенные, не говорившие по-испански населения, породили креолов, сознательно переопределивших эти населения как испанцев по нации? А Испанию, с которой они были столь многим связаны, — как враждебных иностранцев?» (73).

Отгадка этой «загадки» — в самом декрете Сан-Мартина! Дословно и буквально там сказано: уроженцы и граждане Перу — вот кто такие перуанцы. Так определила не природа, не история; так определил некий человек по имени Сан-Мартин. Но нацию нельзя создать декретом, и сие создание Сан-Мартина — не нация. Нациями это все назвали постфактум ученые марксисты — Андерсон в первую голову (который и тут не мог не обмишуриться, ибо никаких «испанцев по нации» население колоний не дало и до сих пор дать, конечно же, не может).

Снова и снова приходится объяснять элементарное: антропогенное согражданство — не природное сообщество, и оно не может оное ни отменить, ни заменить. Декретом нельзя присвоить этничность, а без этнического содержания нация — не нация. Вещи надо называть точно своими именами: согражданство, например, «перуан-

цы», — это согражданство, а нация — это нация⁷ (напомню, что латинский корень «нат» — по-русски значит «род»).

Приведу в полном смысле слова убийственный аргумент. От того, что тутси и хуту — все «уроженцы и граждане» Руанды, они не превратились в единую нацию, не составили общность, даже воображаемую! Эти сограждане разной национальности с примерным усердием режут друг друга при каждой возможности, не имея для этого особых религиозных, языковых, или социальных оснований, но зато имея более чем достаточные основания вековой этнической вражды и ненависти.

А что творили друг с другом еще недавно сограждане Грузии, такие как грузины, с одной стороны, и осетины и абхазы — с другой? Или, опять-таки, недавние сограждане Югославии — сербы, хорваты, боснийцы и албанцы?

Никаким андерсонам объяснить эти простейшие факты не по силам. Потому-то их так и бесят подобные проявления этнической природы нации, проявления природного, органического, инстинктивного национализма!

Было ли, однако, у испанских колоний, в момент их отделения от Испании, некое реальное основание для порыва к суверенитету? Реальное, то есть основанное на природе вещей? Сложилось ли на этих территориях новое природное сообщество, новая этническая идентичность?

⁷ Андерсон иногда раздражается сентенциями, которые просто невозможно прокомментировать, например: «Будучи как исторической фатальностью (!), так и воображенным сообществом, нация преподносит себя как нечто в одно и то же время открытое и закрытое» (164). Если понимать под нацией согражданство, чем он до сих пор только и занимался, то что же тут закрытого? Подай запрос, получи документы и стань гражданином этой «нации»... Но вот в подлинную нацию (без кавычек) вам никто, кроме папы с мамой, пропуски не даст!

⁶ Очевидно, Андерсон имеет в виду ранее цитированные слова Боливара о том, что негритянский бунт «в тысячу раз хуже, чем испанское вторжение».

Конечно, было. Конечно, сложилось. Оставим в стороне хроническое заблуждение Андерсона, якобы рождение наций в Латинской Америке опередило Европу, и ответим на этот, в сущности, очень простой вопрос. Собственно, на него письменно уже ответил пресловутый Симон Боливар. Дело в том, что вторичная раса «метисов» (Андерсон неточно пишет о «креолах»⁸) к этому времени уже состоялась, и Боливар в 1819 г. высказался с ясным и острым пониманием этого собственного нового единства и своеобразия:

«Следует вспомнить, что наш народ не является ни европейским, ни североамериканским, он скорее является собой смешение африканцев и американцев, нежели потомство европейцев... Невозможно с точностью указать, к какой семье человеческой мы принадлежим. Большая часть индейского населения уничтожена, европейцы смешались с американцами, а последние — с индейцами и европейцами. Рожденные в лоне одной матери, но разные по крови и происхождению наши отцы — иностранцы, люди с разным цветом кожи»⁹.

Именно отсюда, из этой причины — неизбежное следствие: необходимость самоопределиваться и утвердить свою

⁸ Слово «креол» имеет несколько значений. Мы привыкли понимать под этим — лиц с примесью негритянской крови (мать Пушкина, Надежду Осиповну Ганнибал, именовали «прекрасной креолкой»). Креолами у нас называли также помесь русских с алеутами и камчадалами. Но есть и традиция, в соответствии с которой Андерсон имеет в виду туземных представителей колонизирующей нации в Латинской Америке, независимо от национальности. Однако в таком случае речь о подмесе инорасовой крови не идет, а это ведет к заблуждению относительно этничности восставших. Характерная для автора неточность!

⁹ Боливар С. Избранные произведения. М., 1983. С. 83.

новую, вызревшую за века тотальной метисации этническую идентичность, как бабочке необходимо в один прекрасный день выйти из куколки и завершить свой метаморфозис. Но как завершить его и как достичь совершенно отдельной, оригинальной идентичности, если по-прежнему считать материнской страной Испанию и вести свое происхождение, свои корни от испанцев? Ясно, что это совершенно невозможно, и поэтому в повестку дня ставится совсем иная модель: необходимо максимально дистанцироваться, а в конечном счете — противопоставить себя Испании и испанцам, чтобы сказать: мы — не испанцы, а перуанцы (венесуэльцы, эквадорцы, колумбийцы и т.д.).

По идее, в силу более-менее общей этничности всего населения испанских колоний, там могла бы образоваться единая огромная страна, выражающая общий суверенитет этой этничности — истинной нации, но вступил в действие Первый закон элит («лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме»), и вместо этого там сегодня обнаруживается более тридцати государств. Но можно ли вообще государства Латинской Америки считать национальными, если они не созданы разными нациями и не вмещают каждое — свою особую, отличную от других нацию? Чем так уж гондурасец отличается от колумбийца? Одна (более-менее) кровь, одна религия, один язык, общая (более-менее) история, общий культурный бэкграунд¹⁰... Нет никаких оснований

¹⁰ Мнение, что население этих государств отличается в силу разноэтничности индейских племен, их населяющих, несостоятельно по двум причинам: 1) история заселения Америки палеоазиатскими монголоидами указывает на конечное генетическое (этническое) родство всех индейских племен; 2) при образовании испанских или португальских провинций никто не спрашивал, где и кто проживает, и демаркация границ проводилась без учета этнических границ племен. На от-

считать, что в Латинской Америке столько же наций, сколько государств.

Парадоксально, но факт: когда очередной фрагмент единой латиноамериканской расово-этнической смеси добивался суверенитета и государственности, он немедленно объявлял себя «нацией» — во французском (сийесо-ренаново-андерсоновском) понимании, разумеется, поскольку много ему просто не дано. В результате, к примеру, ст. 12 Конституции Республики Панама (1946 год) гласит: «Государство обязано всеми имеющимися в его распоряжении средствами методически и постоянно приобщать интеллектуально, морально и политически к Панамской нации все группы и всех индивидуумов, которые, родившись на территории Республики, не связаны, однако, с нею; обязанностью государства является так же содействовать духовной ассимиляции тех, кто собирается получить панамское гражданство по натурализации»¹¹. Понятно, что свежее испеченная «панамская нация» — есть именно «конструкт» (если бы все нации были таковы, пришлось бы признать правоту конструктивистов), ничем, кроме подданства, не отличающийся от гипотетической гондурасской, костариканской, гватемальской или тому подобной «нации», поскольку этнически все они — абсолютно одно и то же: помесь индейцев, негров и европейцев, главным образом, испанцев и португальцев.

Нелепость и искусственность латиноамериканского («панамского») подхода хорошо выявляется на фоне ст. 2 Конституции Йемена, где сказано куда

дельность еще могут претендовать наследники великих культур — инков (Перу), ацтеков (Мексика; ольмеков и майя не учитываем, они исчезли слишком давно, наследников нет). Но это наследие сегодня чисто умозрительно, оно не живет в наследниках, существует как осто музейный артефакт.

¹¹ Конституции государств американского континента. М., 1959. Т. 3. С. 13.

более грамотно с точки зрения этнополитики: «Йеменский народ — единый, он является частью арабской нации... Йемен составляет историческое, экономическое и географическое единство»¹². Тут нет противоречия, ибо арабская нация вся в целом добилась суверенности и государственности, хотя в рамках не одного, а многих государств. Тем не менее, расово-этнически это пока что единая нация, и йеменцы совершенно адекватно отразили это понимание в своей Конституции.

Так и в данном случае было бы более грамотно говорить о панамском согражданстве единой латиноамериканской нации.

Однако не вполне справедливо обвинять панамцев в неадекватности, ибо, во-первых, сам теоретический вопрос — не из простых, а во-вторых, латиноамериканская вторичная раса — явление для Нового времени вполне беспрецедентное, требующее, возможно, именно подобных искусственных решений. Но для других, естественных, наций пример Панамы и т.п., разумеется, не указ.

Нам, бывшим советским гражданам, не нужно долго объяснять произошедшее в т.н. Западной Испании 200 лет назад, благо у нас свой пример перед глазами: Украина и украинцы (вчерашние малороссы), утверждающие свою идентичность на яростном противопоставлении себя, своей этничности — России и русским. Полностью игнорируя и попирая при этом историю, антропологию и даже, как недавно абсолютно точно выяснилось, генетику¹³. Характерно название книги, изданной под именем второго украинского президента Леонида Кучмы: «Украина — не Россия», выдающее все комплексы

¹² Конституция Народной Демократической Республики Йемен. М., 1980. С. 15.

¹³ См.: *Балановская Е.В., Балановский О.П.* Русский генофонд на Русской равнине. М., 2007.

и судороги вновь народившегося украинского национализма.

Именно то же самое происходило и в Латинской Америке двести лет тому назад. Аналогия тут полная и совершенная. Именно креолы и продемонстрировали там действие Первого закона элит. Но смешно и нелепо считать, будто данный процесс совершался впервые во всемирной истории. В ходе распада любой империи, где на окраинах шла этническая метисация и возникали вторичные этносы, происходила затем аналогичная история с этническим самопереопределением — взять хоть такой осколок Римской империи, как румыны и отчасти даже молдаване. Но даже задолго до распада и отчасти предвещая и ускоряя его, опять же на окраинах империи, периодически вспыхивают войны покоренных этносов за независимость: та же Югуртинская война, так живо описанная Саллюстием (примеры можно приводить бесконечно). Вот Боливар, к примеру, — это и есть Югурта своего времени. А Югурта, соответственно, — Боливар своего, только менее удачливый в итоге. Никакого принципиального отличия вы не найдете, как ни ищите.

Андерсон не знает или не задумывается об этом? Тем хуже для него.

Он учитывает лишь более поздние империи и, соответственно, более поздние их распады на национальные государства? Тем хуже для него.

Почему мы должны ему верить?

Понятно также, что Андерсону было любо искать подкрепление своей теории в том материале, которым он занимался профессионально. Он не случайно подробно ссылается на то, как колонизаторы с помощью переписи соединяли разные племена, этнические группы — в большие общности: «малайцы», «индонезийцы», «филиппинцы» и т.д. (186–195).

Информация важная и интересная: она как раз и показывает наглядно рукотворность псевдонаций, созданных

искусственным путем, когда многие народы и племена, веками сохранявшие свою идентичность, бывали слиты в единую общность волей белых господ. На этих примерах мы лишний раз убеждаемся, что это вполне возможно: 1) создать искусственную общность, 2) скрепить ее согражданством, а потом — 3) продекларировать воображаемое сообщество («нацию»), которое затем 4) навязать как новую идентичность тем племенам, из которых все слеплено. Четкий четырехступенчатый процесс.

В точности так же, в четыре приема, и «советский народ» пытались когда-то создать большевики, захватившие Россию, прямо и открыто ставившие своей задачей вывести тут «новую породу людей».

Не факт, однако, что такая общность и такое сообщество закрепятся и выдержат испытание временем. Если племена имели реальные биологические различия, они рано или поздно разделятся, и общность развалится. Как развалился искусственный, «воображенный», а потому непрочный «советский народ».

Итак, Андерсон довольно живо преподнес нам две модели искусственного создания наций: в одном случае — по воле оккупантов (в Индокитае), в другом случае — по воле элит оккупированных народов, поднявшихся на восстание (в Латинской Америке). Но в том и другом случае не подлежат сомнению три обстоятельства: а) насилие, лежащее в основе процесса; б) искусственность границ новых общностей; в) не просто игнорирование, но прямое отрицание оккупантами или инсургентами естественной, кровной, этнической основы новых общностей — во имя государства, в одном случае при объединении разных отдельных этносов в единое согражданство (в Индокитае), в другом — при разделении сложившегося этнического единства на разные согражданства (в Латинской Америке).

Однако зададим себе простой вопрос: действительно ли новые андерсоновские «нации» имеют эталонный характер? Все ли нации в истории мира создавались подобным искусственным образом? Все ли пренебрегали кровной близостью в своем становлении, ориентируясь лишь на согражданство?

Конечно, нет! Я уж даже не буду говорить о древнейших нациях типа шумеров, вавилонян, спартанцев, афинян, мидийцев, лидийцев, персов или римлян и т.д. Но вообще все кровнородственные общины, на основе которых сегодня существуют весьма многие народы и нации, только так и поддерживают свое существование в веках. Один из ярких примеров — евреи. Официально (!) принадлежность к еврейству может быть установлена двояко: через религию (это путь весьма сложный и не основной) или — через кровь. Они всегда — от Авраама и Исаака — знали это и придавали этому значение. И культивировали, и ввели принцип крови вначале в религиозный, а теперь и в государственный закон. Поэтому всегда оставались нацией, даже потеряв государственность, и остаются ею по сей час, даже теряя религиозную веру.

Андерсон утверждает: «Национализмы XX века имеют, как я доказывал, глубоко модульный характер. Они могут опираться и опираются на более чем полуторавековой человеческий опыт и три ранние модели национализма» (153). Но никакому настоящему националисту не придет в голову признать вышеназванные новоиспеченные страны — нациями, да еще в ранге «модульной концепции», и обращаться к ним за опытом нациестроительства. Особенно, когда у нас перед глазами есть примеры успешного становления еще более новых, однако реальных наций и национальных государств, где в основу положен принцип этничности, — евреев с Израилем, казахов с Казахстаном, украинцев с Украиной, прибалтов с их лимитрофами и проч.

Андерсон почему-то считает, что ев-

ропейскими странами XX в. учитывался опыт «креольских националистов». Где тому свидетельства, хоть одно? Кто вообще на них смотрел, на эти вчера возникшие и уже богом забытые игрушечные страны, кто их всерьез воспринимал?! Если и знали, то лишь Панаму из-за канала, одноименной аферы да головного убора «панамка». Ну, еще немцы предусмотрительно готовили кое-где там себе территории спасения на случай краха во Второй мировой войне — именно из-за забытости-заброшенности этих стран, где можно было укрыться от мира. Но чтобы учиться у них?! Подражать им?! Пусть бы Андерсон подтвердил свои слова хоть чем-то!

Вместо подтверждения и примеров Андерсон воображает на ходу:

«Эти модели... помогли придать форму тысячам рождающихся мечтаний. Уроки креольского языкового и официального национализма... копировались, адаптировались и совершенствовались».

С чего он это взял? Чем доказал? Где свидетельства преемственности опыта?

А он все продолжает и усугубляет: «Национализм с конца XVIII в. находился в процессе модульного перенесения и адаптации, приспособляясь к разным эпохам, политическим режимам, экономикам и социальным структурам. В итоге эта “воображаемая общность” проникла во все мыслимые современные общества» (175).

Смешно: «полуторавековой опыт»... Разве это срок для истории? Как будто не было национальных и националистических Афин, Спарты, Рима, Израиля, Иудеи, Ирана, Китая, Эфиопии и др.! Как будто Испания, породившая большую часть стран Латинской Америки, не была уже к моменту экспедиции Колумба национальным государством испанцев (именно в том самом 1492 г. освободившись от мавров и евреев)! Вполне национальным государством была к этому времени и Португалия. «Уроки креольского национа-

лизма» — это значит, что яйца будут учить курицу...

Сосредоточение Андерсона на судьбе стран, имеющих ничтожные истории (срок менее 500 лет — это еще не история), приводит его к поразительному своей нелепостью заключению: «Поскольку у нации нет Творца, ее биография не может быть написана по-евангельски, “от прошлого к настоящему”, через длинную прокреативную череду рождений... Единственная альтернатива — организовать ее “от настоящего к прошлому”: к пекинскому человеку, яванскому человеку, королю Артуру...» (222).

Нет у нации Творца — ничего себе довод против историзма как метода в социальных науках! Не знаешь даже, как и комментировать такой антинаучный выпад против всей историософской традиции от Геродота до наших дней. Но для нас, адептов исторического материализма, роль Творца привычно исполняет Природа, и она-то и ведет здравомыслящее нациеведение «от прошлого к настоящему», именно «через длинную прокреативную череду рождений»: семья — род — племя — народ — нация. Но Андерсон, боюсь, этого понять никогда не захочет.

Пароксизмы экзотизма

Поскольку Андерсона как конструктивиста не может устраивать естественно-историческое объяснение возникновения наций путем эволюции этноса от рода к племени и далее, он вынужден выдумывать все новые, порой весьма экзотические механизмы, якобы создающие нации из отдельных, атомизированных личностей (где он таких нашел за пределами Новейшего времени, я сказать не берусь). И не менее экзотические способы проявления национальной идентичности и национализма.

Андерсон не знает и не понимает, что природу нации невозможно постичь, не проникнув в природу первичного по отношению к ней этноса, а природа этноса непостижима вне по-

стижения природы первичной по отношению к нему расы. Поэтому он ищет ответ совсем не там, где следует:

«По моему мнению, для ответа на этот вопрос нужно прежде всего обратиться к культурным корням национализма» (32).

Получив такой ответ, можно уже быть абсолютно уверенным, что приблизиться к истине автору не удастся никогда.

Убедимся в этом на примерах из его текста.

1. Известный солдат важнее неизвестного. Свой первый заход на тему культурного базиса националистической надстройки Андерсон явно делает не с надлежащей стороны. Не знаю, откуда и почему Андерсон обогатился таким странным мнением, будто «у современной культуры национализма нет более захватывающих символов, чем монументы и могилы Неизвестного солдата» (33). Это очень самоуверенно, безапелляционно и неверно: ведь неизвестный солдат — он и есть неизвестный, какой он был нации (этничности) — сего не ведает никто. Под плитой может лежать как Иванов, так и Хабибулин или Рабинович. Конечно, в любом случае честь и слава им, павшим за Родину, но Родина — это еще не нация. А ведь для нас, националистов, незыблем принцип «нация первична — государство вторично», чем мы и отличаемся от простых патриотов.

Лично меня как националиста эти монументы волнуют в неизмеримо меньшей степени (в них есть, по-моему, некое умственное кокетство и искусственная пафосность, не свойственные русским и не трогающие душу), чем мемориалы подлинного героизма русских воинов, щедро рассыпанные трагической судьбой по всей нашей земле. Вот перед ними, порой скромными и неказистыми столбиками с несколькими русскими фамилиями, я всегда снимаю головной убор, а иногда и слезу смахиваю, вспоминая, что где-то

под Осташковом так же лежит в родной земле моя бабка Таисия Дмитриевна Севастьянова, капитан медицинской службы (1902–1943), которую я так и не видел никогда.

И вообще, у нас есть символ получения: Минин с Пожарским, вполне известные русские вожди русского народного ополчения.

Андерсон пишет далее на полном серьезе, хотя звучат его слова как издевательство: «Культурное значение таких памятников становится более ясным, если попытаться представить себе, скажем, Могилу неизвестного марксиста или Памятник павшим либералам. Можно ли при этом избежать ощущения абсурдности?» (33).

Ну, и о чем говорит данное сравнение? Да только о том, что идеологии — есть нечто вторичное, не задевающее наших глубинных чувств, а вот национальный герой, т.е. герой, павший за нацию, за свою «большую семью», — задевает. Нашел, в самом деле, что сравнивать. Своих героев, что ли, у него маловато?

2. От филологической революции — к революции национализмов. Именно так выстраивает Андерсон свой очередной экзотический тезис (99).

Он много рассуждает о значении языковой неоднородности людей¹⁴, но,

¹⁴ Андерсон упорно полагает, что «соединение капитализма и техники книгопечатания в точке фатальной разнородности человеческого языка сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, базисная мифология которого подготовила почву для современной нации» через унификацию диалектов (64). Поистине «легкость в мыслях необыкновенная»! С каких это пор печатная продукция унифицирует диалекты? Этим все-раз занимается только радио и ТВ. Ведь диалекты — это прежде всего различия в фонетике, произношении одного и того же языка. Но даже если печать унифицирует диалекты, что с того? Почему надо так упираться в этот факт, так преувеличивать его значение? Разве

разумеется, до истоков человеческого языка дойти даже не пытался и понять их биологическую сущность не сумел. Между тем, как замечательно сформулировал наш ведущий расолог Владимир Авдеев: «Каждый народ имеет тот язык, которого он биологически достоин».

Грубо говоря: не венгерская нация образовалась благодаря легализации венгерского языка в Австрийской империи Габсбургов, а венгерский язык возник в ходе этногенеза и исторического движения венгров никак не позднее IX в. н.э. Этническая субстанция первична по сравнению со всеми ее проявлениями (феномен — по сравнению с любыми эпифеноменами: язык лишь частный случай). И она-то и лежит в основе наций и национализма.

Андерсон спокойно меняет местами причину и следствие, феномен и эпифеномен, явление и его свойства.

Весь акцент у него, определенно, на родном языке (172)¹⁵. Он совсем не по-марксистски исходит из примата филиации идей, упирая на то, что первой фазой национализма в Европе было якобы низложение латыни — единого священного языка христианского мира, место которого к XIX в. повсеместно заняли создаваемые, опять-

он унифицирует диалекты французские — с немецкими? Устраняет принципиальное различие языков? Нет, только по отдельности: отдельно диалекты французские, отдельно немецкие. Но нации-то характеризуются языками, а не диалектами. Так что никаких новых сообществ печать не создает, а только унифицирует, консолидирует весьма старые.

¹⁵ У Андерсона идет определенная переключка с Геллнером, также придающим чрезмерное значение факторам языка, религии, культуры. Только Геллнер заявляет, наоборот, о некоем «панроманском национализме» на базе латинского языка и католицизма. Как мы понимаем, национализм в принципе не может быть «пан-», или это уже не национализм, а какая-то иная, суперэтническая форма солидарности.

таки якобы, *ex nihil* (!) национальные языки. В его изложении Мартин Лютер, переведший Библию с латыни на немецкий и развернувший на родном языке пропаганду лютеранства, предстает неким титаном, чуть ли не создавшим, через обращение к немецкому языку и с помощью печатного станка, немецкий национализм. А уж тот, в соответствии с учением Геллнера, создал и саму немецкую нацию.

В общем: печатный капитализм плюс Реформация — и перед вами новая нация.

Ход мысли Андерсона мне представляется неудачным. Перед нами, прежде всего, культурологическое заблуждение, большая фактическая ошибка.

Андерсон отчасти прав по сути, а именно: обретение национальной религии играет существенную роль в формировании национального сознания (среди самых ярких примеров — евреи, индусы, китайцы, арабы, парсы, друзы и мн. др.). Если национализация религии происходит через перевод ее на национальный язык, как это было с христианством, — что ж, и такой частный случай иногда встречается. Хотя по своим истокам христианство вообще не имеет отношения к Европе и европейцам, а по своей интернациональной сути в принципе не способно стать ничьей национальной религией. Но национальные модификации любой религии, играющие роль этноразграничителей, как известно, вполне возможны, и это дает иллюзию того, что они не только разграничивают, но и конституируют (а для конструктивистов, конечно же, — конструируют) этносы.

Вместе с тем Андерсон очень сильно преувеличивает обе стороны процесса: как приоритет Лютера в эмансипации европейских языков (правильнее было бы сказать: языков германской группы), так и «сокровенность» средневековой латыни и ее последующее прогрессирующее ничтожество. Конечно, Лютер виртуозно использовал немец-

кий язык, но разве Лютер его создал? И разве его творчество отменило широкое использование латыни вообще? Факты говорят об обратном.

Во-первых, уже в 1518 г. в Аугсбурге вышел из печати анонимный перевод Библии на немецком языке, выполненный еще до Лютера — *Bibel teutsch* (так!). Экземпляр, бывший в составе т.н. «Готской библиотеки», ныне хранится в библиотеке ИНИОН в Москве. Предпринимались и другие переводы. Это, конечно, великая редкость, но она однозначно свидетельствует: Лютер вовсе не был первым (его перевод Библии увидел свет в 1522 г.), потребность немцев в массовом приобщении к христианству на родном языке уже созрела и без него.

Но главное — созрел сам немецкий язык, задолго до Лютера и без его участия. Язык, несомненно, — важнейший атрибут этничности, хоть он и вторичен по отношению к ней как таковой, и немцы тут не исключение. В XX в. был издан 16-томник немецкого средневекового и ренессансного фольклора, но собран-то он был еще в XVI веке современником Лютера, гуманистом и филологом Иоганном Фишардом (кстати, первым переводчиком Рабле на немецкий язык). Творцом всего этого филологического богатства был немецкий народ, а срок сотворения языка меряется многими-многими тысячелетиями. Высокого совершенства достиг и литературный немецкий язык задолго до Лютера (вспомним хотя бы «Путешествие в Святую Землю» Брейденбаха, «Всемирную хронику» Шеделя или «Корабль дураков» Себастьяна Брандта, вышедшие еще в XV в.). Именно немецкая нация создала и свой язык, и типографическую культуру, и, в конечном счете, самого Лютера. А вовсе не наоборот.

Во-вторых, всего от первых изданий Гутенберга до 1501 г. было выпущено 40 тыс. наименований изданий общим тиражом около 20 миллионов экземпляров. По современным под-

счетом, 77% этих книг (т.н. инкунабул) было издано на латинском языке¹⁶, но лишь 30% всего репертуара трактовало вопросы веры. Латынь к этому времени уже прочно стала международным языком не только религии, но и науки, и дипломатии, и юриспруденции и т.д. Она с раннего Средневековья была основной основой школьного образования во всех странах Запада, а потому вовсе не была так уж ограниченно понятна узкому-де кругу образованных людей (необразованные Андерсоном в расчет не берутся, и правильно) и вовсе не торопилась сдавать свои позиции под натиском национальных языков. Ее удельный вес в книгоиздании более-менее сохранялся и после Лютера, по крайней мере до XVIII в. С другой стороны, мы видим, что часть книг печаталась на национальных языках и в инкунабульном периоде, задолго до Лютера.

Итак, автор явно преувеличивает роль немецкой Реформации и книгопечатания в становлении европейских национализмов. Немецкий протестантизм (лютеранство) не стал национальной религией даже в близкородственной Швейцарии (там утвердился кальвинизм); какое же, тем более, было дело до лютеранских текстов французам или англичанам, какие национальные чувства они могли в них разбудить? Что касается, скажем, французского национального языка, то его создавали не кальвинистские проповедники, а труверы, певшие о Роланде, менестрели, авторы куртуазной поэзии, Франсуа Вийон и Франсуа Рабле, поэты «Плеяды», потрясающая школа французской историографии...

Всего этого Андерсон, конечно, не знает и не учитывает.

Зато он сам ведь и напоминает, что «универсальность латыни в средневековой Западной Европе никогда не соотносилась с универсальной поли-

тической системой... Религиозный авторитет латыни никогда не имел подлинного политического аналога» (63).

Пропустив говоря, нации существовали и до Лютера. (К примеру, не вредно вспомнить, что «*Sancta Romana Imperia Germanorum*», созданная Оттоном Первым за пятьсот лет до виттенбергского монаха, переводится у нас как «Священная Римская Империя немецкой нации», что характерно.) Соответственно, бунт против латыни со стороны национальных культур никак не может считаться первопричиной национализма. А уж особенно в ряде германских государств и в Священной Римской Империи, впоследствии Австрии, где немцы, несмотря на Лютера, прекрасно пользовались латынью как официальным языком еще в XIX в., как сам же автор и отмечает.

Теория лингвистического происхождения национализма (в ходе эмансипации национальных языков внутри разнообразных империй и утверждения их норм с последующим появлением национальных литератур¹⁷), как видим, не выдерживает критики. Андерсон завирается не только в идее, но и в деталях, что говорит об одном: человек просто взялся не за свое дело, подошел к теме подилетантски. С чем его доверчивых адептов и поздравляю. Особенно хорошо это видно на примере русских¹⁸

¹⁷ Пространные экскурсы в изученные Андерсоном филиппинскую, мексиканскую, индонезийскую литературы ничего не дают, играют роль пустого наполнителя, придающего мнимую фундированность книге. Поскольку эти насковзь вторичные литературы, целиком и полностью производные от великой европейской литературы, вообще ничего предложить для нашего сердца и ума уже не могут. Отдадим должное экзотической эрудиции автора и пройдем мимо сего материала.

¹⁸ Один штришок, рисующий нам знатока культуры Б.А.: он утверждает, что в XVIII в. в «династическом государстве» под названием «Дом Романовых» официальными языками

¹⁶ L. Febvre, H.-J. Martin. *The Coming of the Book: The Impact of Printing 1450–1800*. London & New York, 1984. P. 248–249.

и венгров, о которых он берется судить.

Нелепо выглядит его ссылка на создание шеститомного академического словаря русского языка (1789–1794) и первого, по мнению Андерсона, учебника русской грамматики (1802), которые наш автор трактует как «победу разговорного языка над церковнославянским» (94). Следует здесь заметить, что первая русская грамматика вышла во Львове в 1591 г.; автор ошибся на двести лет, ни много ни мало¹⁹. Следом русская «малая грамматика» была написана Карионом Истоминым на рубеже XVII–XVIII вв. Наконец, «Русская грамматика» Михаила Ломоносова вышла из печати в 1757 г. (ошибка автора почти в столетия)²⁰. Пусть это мелочи, но показательные.

А главное, спрашивается, кого же русские победили, от кого эмансипировались таким манером? Разве что от самих себя, прежних. С точки зрения национализма это скорее откат, чем наступление: сегодня торжество национализма могло бы лингвистически выразиться как раз в возвраще-

«были французский и немецкий» (65) — это чистой воды вранье, т.к. все делопроизводство, внутренняя переписка, государственные акты и законодательство велись исключительно на русском языке. Отдельные документы, предназначенные для внутреннего и внешнего употребления, как, например, знаменитый екатерининский Наказ Уложенной комиссии, публиковались на русском и других языках, но это довольно редкий случай. Надо отметить, что вообще все, что Б.А. с апломбом вещает о России, — вопиюще, безобразно некомпетентно.

¹⁹ Написанная греком митрополитом Арсением, она именовалась «Адельфотес, грамматика доброглаголивого еллино-словенского языка совершенного искусства осми частей слова ко наказанию многоименитому Российскому народу» (Львов, 1591).

²⁰ Русскую грамматику Генриха Вильгельма Лудольфа, изданную на латыни в Оксфорде (1696), я уж не беру во внимание.

нии к церковнославянскому языку, безусловно более красивому, сочному, интересному и емкому, чем современный русский, безусловно более прочно связанному с племенным устройством русского мозга, безусловно более «отдельному» от неоиimperского языка (советского новояза) и других языков даже славянской группы. Евреи знали, что делали, когда восстановили иврит, возвращающий их к национальным корням...

Смешным кажется и утверждение Андерсона, будто «первым политическим проявлением венгерского национализма стала в 80-е годы XVIII в. враждебная реакция латиноязычной мадьярской знати на решение императора Иосифа II заменить латинский язык немецким в качестве основного языка имперской администрации» (95).

Во-первых, что это за национализм такой своеобразный, когда один чуждый язык защищают от экспансии другого, не более, но и не менее чуждого (если бы мадьярская знать требовала введения мадьярского языка как официального — тогда другое дело).

А во-вторых, надо совершенно не знать историю венгров, чтобы связать их *политический* национализм с этим поздним *лингвистическим* эпизодом²¹. Кто такие венгры? Это изначально этнические турки (средневековые современники, византийцы, к примеру, их только турками и именовали), шедшие в свое время из Азии в Европу через Урал и перенявшие там, усвоившие в качестве родного один из финских языков. Они явились в IX в. на Дунай,

²¹ Язык представлен Андерсоном как этнообразующий (!) фактор у венгров 1848 г. А кем же венгры были до того? Кстати, для нас, русских, языковой критерий вообще неприемлем. Мы уже никогда не признаем русскими всех русскоговорящих только на основании их русскоговорения. Для нас фальшивость такого критерия полностью выявлена всем ходом нашей трагической истории XX в.

где жили славяне, которых завоевали и поработили и с которыми смешались до полного растворения, поскольку тех было намного больше. Сегодняшние антропологи и генетики уже не обнаруживают в венгерском населении никакого иного этнического субстрата, кроме славянского, невзирая на реликтовый этноним.

Таким образом, складывание средневекового венгерского государства и венгерского народа, изначально тюркского этнически, но полностью ослабявшегося и к тому же финноязычного, — это, безусловно, и есть первый триумф венгерского именно политического национализма. Триумф, одержанный этносом-победителем в политике, вопреки тому, что удержать ни языковой, ни даже этнический суверенитет ему не позволили обстоятельства. И даже дальнейшие превратности судьбы, ограничившие политический суверенитет венгров в рамках Священной Римской Империи *немецкой нации*, не смогли лишить их такой сложной и такой состоятельной идентичности. Нынешнее государство Венгрия являет собой (хотелось бы, чтоб об этом узнал Андерсон) вовсе не нечто новое на политической карте мира, а лишь возврат венгров к своей национальной государственности, временно ограниченной немцами в прошлом.

Андерсон именно на примере венгров впадает в своего рода лингвистический кретинизм: «Если «венгры» заслуживали национального государства, то это означало: все венгры без исключения. Этим подразумевалось такое государство, где конечным средоточием суверенитета должно было стать сообщество говорящих и читающих по-венгерски; далее, в свой черед, должны были последовать ликвидация крепостничества, развитие народного образования, экспансия избирательного права и т.д.»²². Но при

этом сам же указывает в примечании: «В этом вопросе не было полной ясности. Половину подданных Королевства Венгрии составляли немадьяры. Лишь треть крепостных крестьян говорила по-мадьярски. В начале XIX века высшая мадьярская аристократия говорила на французском или немецком языках, среднее и низшее дворянство разговаривало как на устном немецком, так и на вульгарной латыни, пересыпанной мадьярскими, а также словацкими, сербскими и румынскими выражениями» (104). Это примечание, вообще-то, полностью опровергает постулат Андерсона, противоречит ему.

Но есть и еще аргументы против. Например — глухонемой венгр: как удостоверить его венгерство? Куда его деть? Выкинуть из национального государства? Или: говорящий по-венгерски, но неграмотный венгр: его куда? Если же снять критерий «читающий по-венгерски», тогда все сказанное ранее о роли печати и о «сообществе читателей газет» — пустой разговор (что и требовалось доказать). Потому что говорящие по-венгерски были всегда с тех пор, когда венгры переняли на Урале этот язык себе на ранней стадии этногенеза, следовательно, по логике Геллнера–Андерсона, основания для создания венгерской нации существуют также с тех самых пор!

Словом, Андерсон-филолог не поднялся, прямо скажем, выше уровня автора известной работы «Марксизм и вопросы языкознания». Он широко обобщает:

«Всегда будет грубой ошибкой трактовать языки так, как трактуют их некоторые идеалистические идеологии (кто бы говорил! — А.С.) — а именно, как *внешние символы* национальности, стоящие в одном ряду с флагами, костюмами, народными танцами и про-

«концептуальную модель», созданную в Латинской Америке. (Это, конечно, вряд ли, чтобы венгры искали своего суверенитета с оглядкой на латиноамериканцев.)

²² Он считает, что такой подход — результат «пиратства», т.е. венгры как бы украли

чим. Неизмеримо важнее способность языка генерировать воображаемые сообщества и выстраивать в итоге партикулярные солидарности. В конце концов, имперские языки — это все-таки национальные языки, а стало быть, особые национальные языки среди многих» (152).

Но это обобщение неверно. Андерсон думает, привычно отождествляя государство (даже империю) и нацию, что если разные племена в этническом конгломерате, стиснутом общим согражданством, говорят на одном языке (пусть и на языке порабощенных, колонизаторов), — так перед нами уже «нация», говорящая на своем (!) «национальном языке».

Ничуть не бывало!

Возможно, тутси и хуту в Руанде говорят на общем «руандийском» языке, но нацией от этого не стали — и доказали это максимально убедительно, взаимно вырезав тысяч по двести живых людей с каждой стороны. А факт тотального русскоговорения на постсоветском пространстве не уберет оно пространство от уже более 150 кровавых конфликтов на национальной почве. То же можно сказать и об Индии, массово и официально говорящей сегодня по-английски, ибо ни один из сорока ее языков не будет добровольно принят остальными в качестве государственного. Но эта англоязычность вовсе не делает нацию единой, о чем не дают нам забыть события в Кашмире, Шри-Ланке, Бангладеше и др. То же скажем и о народах бывшей Югославии, которым общность языка насколько не помешала скатиться в череду кровавых братоубийственных войн. Со всей очевидностью скажем: югославы нацией не стали. Примеры можно умножать.

Познавший толк в языкознании Андерсон²³ глубоко неправ по существу.

3. «Жеватели мастик — читатели газет». Как понимает читатель, любая идентичность ни в чем не проявляется так ярко и очевидно, как через участие в конфликтах. Соответственно, национальная идентичность — через участие в этнических войнах, через национальные конфликты. Потому что вечная, завещанная нам Природой оппозиция «свой — чужой», лежащая в основе активного национализма, именно в данной ситуации обостряется до предела. И уж во всяком случае, вряд ли кому придет в голову искать причину образования нации в чтении общих газет на одном языке.

Андерсон же навязывает нам именно эту экзотическую мысль — о нации как воображаемом сообществе «читателей газеты» (57–58). Он приводит в пример таких читателей газет — буржуа Лилля и Лиона: «У них не было необходимости знать о существовании друг друга; они обычно не заключали браков с дочерьми друг друга и не наследовали собственность друг друга. Однако они сумели представить себе существование тысяч и тысяч им подобных через посредство печатного языка... (А то они такие идиоты, что раньше этого не знали. Да неграмотный русский крестьянин — и тот знал, к примеру, что Россия — это “машина”, “силища”: “Всем народом навалить-

ту с языком», в завоевании национальными языками полноправия при отсутствии политического суверенитета, с тем, чтобы потом поставить вопрос и о нем. То есть, в конечном счете, в становлении наций (на примере финнов, норвежцев, буров). Это интересно. Спору нет, языковая эмансипация есть один из факторов и вместе с тем симптомов национального становления, того самого «пробуждения нации», которое склонно отрицать конструктивисты. Но не более того. Это не самодвижущаяся модель, не локомотив целого процесса суверенизации, а лишь одна из составляющих, главным же двигателем является совсем другое (тут разговор выходит за рамки моей задачи).

²³ Отдадим должное: Андерсон приводит любопытные сведения о роли людей, «чья профессия включала главным образом рабо-

ся хотят”. — А.С.) Таким образом, со всемирно-исторической точки зрения, буржуазии были первыми классами, достигшими солидарностей на воображенной, по сути, основе» (99).

Так Андерсон попытался сам себе ответить на тот свой жгучий, но безответный вопрос Карлу Марксу по поводу возникновения «национальных буржуазий», о котором я упоминал выше.

Вот в этом-то весь трюк и состоит: подмена нации — национальной солидарностью, причем на ненадежной (см. выше) языковой основе. Но разве это довод? Разве нет солидарности без газет? Разве газеты надежно ее обеспечивают? Возьмем-ка в соображение простые вещи:

1) крысы газет не читают, однако их племенной солидарности позавидует любой националист, а тем более лионский буржуа;

2) в Древнем Риме никаких газет не выходило, а римская национальная солидарность была такова, что Муций Сцевола за нее сжег собственную руку на вражеском жертвеннике;

3) газеты «Правда» и «Известия» на русском языке читали все народы СССР, но это не добавило им солидарности, не сделало единой нацией и не спасло страну от распада по национальным границам.

Нелепый пример — читатели газет. Подобных примеров можно насочинять море, не сходя с места: военнослужащие, пассажиры поезда или метро, радиослушатели и проч. Это все произвольные сообщества, вызываемые к жизни от случая к случаю исключительно антропогенными причинами.

Нации же созданы Природой.

Конечно, в уме можно вообразить любое сообщество — хоть популяцию леммингов. Но разве популяции реальных леммингов — есть плод нашего воображения?

Если бы лемминги читали газеты, можно было бы вообразить и новую общность: леммингов-читателей. Зачем? Не важно, ради упражнения

воображения. Можно вообразить леммингов-католиков, леммингов-марксистов — и все это будут поистине воображаемые сообщества.

Но все дело-то в том, что просто леммингов, маленьких зверьков, населяющих тундру, воображать не нужно: они есть — и все тут!

Нацию, как и любой природный феномен, как любую популяцию, хоть тех же леммингов, можно только найти, открыть, описать, но нельзя придумать, создать, вообразить.

Даже если нация искусственна, как метисы-латиносы, она создана естественно-биологическим способом: метисацией — а вовсе не является плодом воображения или вообще сознания.

4. Религия создает единоверцев, но не нацию. Андерсон пытается, по его выражению, «гипостазировать существование Национализма-с-большой-буквы». Принизить, попросту, отнять большую букву. Он дает такой рецепт: «Все станет намного проще, если трактовать его так, как если бы он стоял в одном ряду с “родством” и “религией”, а не с “либерализмом” или “фашизмом” (30). Опять экзотично до невразумительности!

Но: разве «родство» и «религия» вообще могут стоять в одном ряду? Родство имеет природное происхождение, а религия — антропогенна: что же в них общего? Взрослый человек может поменять свою религию, может отказаться от нее. Он может выбрать на старости лет религию себе по душе, даже если был всю жизнь атеистом. Но ни в каком возрасте он не в силах изменить родство, его биологические отец и мать не могут перестать ими быть ни при каких условиях. Помещение этих понятий в один ряд — капитальная ошибка Андерсона, а причисление к нему еще и национализма только запутывает суть вопроса.

Картина, нарисованная Андерсоном, — надуманная, не соответствующая реальности. Он хочет дать по-

нять читателю, что по его мнению национализм сопоставим не просто с рядовыми политическими идеологиями, а с чем-то более значительным. Он сравнивает его с такими большими всемирно-историческими системами, как религиозное сообщество и династическое государство. Из которых национализм якобы появился (!) в их развитие. Логика в таком рассуждении нет нимало.

Взять хотя бы религию. Бесконечные войны греческих городов-государств друг с другом вовсе не смирились единой религией, она не мешала грекам ни убивать, ни поработать друг друга. Андерсон, говоря об истоках национального сознания в Европе в связи с немецкой Реформацией, выводя эти истоки из общности религии и языка, принципиально ошибается не только по времени и по месту события, но и по идее, разумеется. Ведь что как не национальное, племенное сознание, например, афинян и спартанцев, в равной мере принадлежащих к эллинскому языку и религии, но отличающихся этнически, привело к Пелопоннесской войне во вполне еще дотипографскую эпоху! А можно бы привести и несравненно более ранние примеры весьма действенного национализма, не связанного ни с языком, ни с культурой, ни с религией.

Среди наций мира есть одна, для которой ее племенная религия, целиком и полностью замкнутая на национальную идею, национализм, религия, наделяющая святостью как национальной исключительностью всю нацию в целом и каждого ее представителя в отдельности. Она действительно играет конструирующую и консервирующую роль для этой нации. Это евреи. Но данное исключение только подтверждает правило: религии создают этносами, а не наоборот.

5. Государство дает согражданство, но не создает нацию. Не более прав Андерсон, превратно связывая нации и национализм с государством, ибо го-

сударство, как уже не раз отмечалось, дает согражданство, но не создает нацию. Наоборот, государства создаются нациями. Тут Андерсон превзошел сам себя, ибо он, совершенно не понимая диалектики отношений нации и государства, готов за признаки нации принимать и выдавать внешние атрибуты государственности: «национальные государства, республиканские институты, общие гражданства, суверенитет народа, национальные флаги и гимны и т.д.» (103), — все валит в одну кучу! Уж куда экзотичнее...

Мало того, он, произвольно вводя собственный, иной смысл «нации», открыто отождествляет нацию и национальное государство в связи с темой Лиги Наций (133), что тоже неверно (эта лингвистическая аберрация станет для всех англоязычных бревном в глазу также в связи с ООН). А все потому, что трактует нацию как согражданство: ошибочная трактовка ведет к ошибочному выводу (132).

В итоге Андерсону, как это ни смешно, кажется аномалией, что «для нацистов немец еврейской национальности всегда был самозванцем», и он даже не догадывается, что «немец еврейской национальности» — это сапоги всмятку, абсурд из абсурдов, как «курица орлиной породы» — или, если так поллиткорректнее, «орел куриной породы»! Биологический нонсенс попросту. Этнически чуждые данной нации люди, роды, племена не могут влиться в нее, стать ее частью, это невозможно по определению.

Принципиальное непонимание Андерсоном этнической природы наций приводит его к очевидно нелепым выводам. К примеру, он считает, что «едва ли не в каждом случае официальный национализм (т.е. насаждаемый “сверху”, государственный. — А.С.) скрывал в себе расхождение между нацией и династическим государством»²⁴.

²⁴ Как ни странно (минус на минус дает плюс), у Андерсона невольно получается, что

Отсюда распространившееся по всему миру противоречие: словаки должны быть мадьяризированы, индийцы — англазированы, корейцы — японизированы, но им не позволялось присоединиться к тем путешествиям (в социальных лифтах, вывозящих наверх, имеет он в виду. — А.С.), которые дали бы им возможность управлять мадьярами, англичанами или японцами» (132).

Как характерна для конструктивиста эта ошибка! Ведь какое-то «расхождение» или «противоречие» здесь может усмотреть только незадачливый мыслитель, вбивший себе в голову, что согражданство — это и есть нация. То есть не понимающий ее этническую природу. Для нормального же ученого, особенно националиста, нет ничего более естественного в том, что государствообразующий, имперский этнос (истинная нация) стремится вести осмысленную этническую политику в своих интересах. Ну, не для того же мадьяры создавали свое государство, чтобы ими управляли словаки, или англичане — чтобы попасть под управление индусов, японцы — корейцев и т.д. Еще чего не хватало! Что могло бы быть противоестественнее и глупее! Ни один *нормальный* народ не станет считать своих разноэтничных сограждан — особенно колонизированных, завоеванных, порабощенных — членами одной с собою нации.

То, что Андерсону представляется патологией, есть на самом деле почти всеобщая норма, проявляющаяся, как сам же Андерсон и заметил, «едва ли не в каждом случае». А вот там, где это не так или не совсем так (например, в имперской России, где русскими частенько правили немцы, или в советской России, где место немцев заняли

«официальный национализм» — это вообще не национализм, а патриотизм имперско-династического толка, национализму противоречащий, исключаяющий его. Я склонен с этим согласиться.

евреи), — вот там-то мы и имеем дело с патологией!

Важно правильно понимать самую суть дела: воображаемые сообщества и впрямь существуют, но нет никаких оснований именовать их нациями.

6. Ложка меда в бочке дегтя. Среди экзотических идей Андерсона я нашел одну, не лишнюю рационального зерна.

Он выделяет три фактора, конструирующие, на его взгляд, воображаемые сообщества: перепись, карту и музей.

Но из этих трех факторов лишь перепись, на мой взгляд, действительно может способствовать нациеобразованию, как вымышленному, так и реальному, ибо побуждает переписываемых к национальному самоопределению. Именно так и было некогда в СССР, где перепись населения каждый раз многих людей заставляла национально определяться. Но самоопределение — вещь обоюдоострая, ибо оно может быть как основательным, так и безосновательным, и впрямь воображенным, субъективным, ошибочным. Эту простую мысль легко понять, сравнив принципы национального самоопределения в СССР и в нынешней России.

В первом случае это самоопределение не было произвольным, а требовало документального подтверждения в виде метрики с указанием национальности родителей, поэтому, за исключением самой первой переписи, где национальность устанавливалась на веру, переписи давали обоснованную картину этнического состава населения²⁵. Ибо переписываемый имел возможность выбрать национальность одного

²⁵ Первая советская перепись, как и все довоенные установления национальности по заявлению индивида, также вызывает доверие, ибо в середине тридцатых годов обманывать и скрывать свою национальную идентичность не было смысла (репрессированных народов еще не было).

из родителей, но не взять ее из головы. То есть переписи отражали наличие настоящей, а не воображенной нации. И одновременно способствовали массовому представлению о национальной идентичности всей нации или некоего народа из числа имевшихся в составе Советского Союза.

А вот в случае современной России, где в Конституции довольно глупо записано право человека без каких-либо оснований и ограничений «определять и указывать свою национальность», перепись лишь приблизительно выполняет вышеназванные функции, в связи с чем в новейшей статистике населения России уже появились гномы и эльфы.

И все-таки даже такая перепись важна, тут Андерсон прав, ибо каждая перепись с указанием этничности способствует становлению национальной идентичности и национализма (181–182).

В норме (как было в СССР) — не воображаемых, а реальных. А в патологии (как сейчас в России) возможно, конечно, всякое...

Но Андерсон, увы, привычно путает норму с патологией, а потому склонен преувеличивать значение вышеуказанных факторов: «Итак, карта и перепись сформировали грамматику (так!), которая должна была при надлежащих условиях сделать возможными “Бирму” и “бирманцев”, “Индонезию” и “индонезийцев”» (203).

Что ж, воля господ вообще, бывает, творит чудеса: одни пирамиды египетские чего стоят! Но пирамиды на поле сами по себе не растут, как арбузы, не надо равнять рукотворное чудо с явлением природы, каковым является все имеющее этническую основу.

Чтобы закончить эту тему, скажу два слова о карте и музее, чье значение для нацистроительства Андерсон сильно преувеличивает.

Не думаю, что политические карты свидетельствуют в пользу Андерсона.

Он опирается на мысль никому в нашем полушарии не известного Тхонг-

ная (конструктивисты любят апеллировать бог знает к кому) о создании границ и карт Сиам: «С точки зрения большинства теорий коммуникации и здравого смысла, карта есть научная абстракция реальности. Карта лишь репрезентирует нечто, уже объективно “вот здесь” существующее. В истории, описанной мною, эта связь встала с ног на голову. Именно карта предвосхитила пространственную реальность, а не наоборот» (192).

Ну и что? Все границы новых государств, созданных «сверху» чужой волей, волей колонизаторов, а не вековыми историческими обстоятельствами, таковы.

Вот так, между прочим, и возникают в мире разделенные народы и нации. Посмотрите на карту Африки, Латинской Америки, Индии, Аравийского полуострова, бывшего СССР! Откуда эти прямые линии, разрезающие этносы по живому? Это творчество колонизаторов: ни о чем ином такие политические границы не свидетельствуют. Это только границы государств, но не рас, не этносов и не наций.

Проблема разделенных народов и наций — не мной придумана, она существует реально и признана как в мире науки, так и в мире политики. И это красноречиво говорит о том, что этнические (национальные) и политические границы — это не одно и то же. И о том, что нации вовсе не тождественны государствам.

Ведь и географические карты, или карты природных ископаемых, или карты флоры и фауны не совпадают с политическими, однако это не дает нам оснований сомневаться в наличии морей, гор, пустынь и лесов, залежей угля и нефти, популяций растений и зверей, имеющих вполне четкие границы, — и считать их воображенными объектами.

Точно так же не совпадают этнические и политические карты. Особенно хорошо это видно в случаях разделенного положения той или иной нации: китайцев, корейцев, осетин, лезгин,

азербайджанцев, русских (недавно — немцев, вьетнамцев и др.) и т.д.

Биологические данности (типа популяций, этносов, наций), как и географические — это данности естественные, реальные, а вовсе не воображаемые. А вот политические — дело другое, они зачастую искусственны, не имеют привязки к естественным общностям, поэтому их границы так условны. Но вывод отсюда — только один: сотворенная Природой нация и сотворенное людьми государство — не одно и то же. Не нужно их путать. Нации следует рассматривать как естественные, а не как политические сообщества. Тогда не возникнет неразрешимых противоречий в теории и на практике.

Что же касается музеев, то они, на мой взгляд, не только не поддерживают теорию Андерсона, но прямо противоречат ей, работают против нее. Ведь именно музей увязывает каждый артефакт с тем или иным, но каждый раз конкретным этносом, его историей, а сами этносы отчетливо предстают как они есть — в виде субъектов всемирной или региональной истории. Артефакты всегда имеют четкую этническую прописку. И если представитель некоего племени забыл о своей к нему принадлежности и вообразил себя членом обобщенной «нации» (в андерсоновском понимании слова), ему достаточно прийти как раз-таки в музей, где ему напомнят о его корнях, о его истинном происхождении.

Именно археология и этнография, сосредоточенные в музеях, окончательно разрушают условность политической карты, выявляя локальные культуры, зачастую ничего общего (и особенно — общих границ) не имеющие с этой картой. Реальная история реальных общностей, которую мы читаем по витринам музеев, опрокидывает «воображаемые сообщества», как карточный домик. В частности, это одна из причин, по которой ни вообразить, ни сконструировать нацию «россиян» в границах Российской Федерации никогда не

получится: наши музеи кричат о том, что Россию создали русские (истинная нация), а не «россияне» (воображаемое сообщество). И напротив, поиск исторических корней воображаемого сообщества «россиян» не даст ничего.

Уж если всерьез говорить о воображаемых сообществах, так это — конфессии и партии, ибо они в своей основе не имеют ничего, внеположного сознанию, ничего материального, ничего биологического, природного. А национальная идентичность, пробивающаяся через все вымышленные, надуманные идентичности, выламывающаяся из них, — это настоящий бунт реальной жизни против религиозного и/или идейного дурмана, против выдумки, вымысла, воображения.

Каменный цветок национализма

Не разгадав феномен нации, конструктивист не способен, естественно, раскрыть природу национализма. Не дается в нечуткие и враждебные руки каменный цветок!

Андерсон, к примеру, постоянно путает национальность с гражданской принадлежностью (а вследствие этого — национализм с патриотизмом). Вот пример: «Если я латыш, то моя дочь может быть австралийкой» (163). Но «латыш» — это этничность, а «австралийка» — это гражданство, ибо такого этноса в природе не было и нет. Аборигены — это тоже австралийцы, но у них нет ничего общего с иноэтничными австралийцами, кроме территории совместного проживания — материка Австралия — и общего подданства. (Как и у индейцев с англо-саксами и прочими иммигрантами, оккупировавшими Америку.) И стать австралийкой, в смысле аборигенкой, никакая латышка не сможет никогда.

Совместное проживание не порождает новую этничность, ибо биология не определяется географией, ни физической, ни политической.

Дочь латыша, даже переехав в Австралию и получив австралийское

гражданство, став «австралийкой по паспорту» и ярой австралийской патриоткой, тем не менее проживет жизнь натуральной латышкой и латышкой же умрет. Так же, как русский, живущий в Латвии, не становится от этого латышом. А еврей, живущий в России, — все равно остается евреем, а не русским, что бы он ни думал по этому поводу. Отвезите таксу в Австралию и выпустите на природу — она так никогда и не превратится в собаку динго!

Но всю глубину непонимания Андерсоном проблемы национализма выдает следующий его текст:

«Теоретиков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздражали, следующие три парадокса:

1) объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, — и субъективная их древность в глазах националиста, с другой;

2) с одной стороны, формальная универсальность национальности как социокультурного понятия (в современном мире каждый человек может, должен и будет “иметь” национальность так же, как он “имеет” пол), — и, с другой стороны, непоправимая партикулярность ее конкретных проявлений...

3) с одной стороны, “политическое” могущество национализмов — и, с другой, их философская нищета и даже внутренняя несогласованность» (29–30).

Именно по третьему пункту и возникает тот упрек в отсутствии марксов и веберов от национализма, на который уже отвечено выше. Поэтому осталось ответить только на две первые претензии:

1) на самом деле все обстоит строго наоборот: именно в глазах историка нации обладают объективной древностью (взять хоть бы тех же излюбленных мною римлян периода республики, но есть, безусловно, и более ранние примеры). Что же до зрения националиста, то если оно не совпадает с таковым историка, такое зрение есть не что иное

как слепота. Компромисс здесь невозможен, а раздражение вызывает только тупость конструктивиста, в упор не видящего древнюю реальность наций;

2) определение Андерсоном национальности как понятия социокультурного с ходу лишает нас всякой возможности продолжать разговор, поскольку не соответствует действительности, а обсуждать достоинства или недостатки фантомов — не в моем вкусе. Отвечать идеалисту в терминах и представлениях идеализма (и волей-неволей вставить тем самым на его позицию) я не могу, а перевод разговора в плоскость серьезной полемики на уровне парадигм потребует объема, невозможного в данной статье. Позволю себе лишь напомнить блестящую и неопровержимую максиму Б.Ф. Поршнева: социальное не сводится к биологическому, но социальное не из чего вывести, кроме как из биологического.

Как видим, все три парадокса носят исключительно мнимый характер и легко и спокойно преодолеваются неизменным сознанием. Но для андерсонов тут, видимо, непроходимая, непробиваемая стена.

А начинается этот интеллектуальный ступор с постулата, который никто и никогда не доказал и доказать не может:

«Национализм появился сначала в Новом Свете, а не в Старом» (207)²⁶.

Доказать этот абсурд нельзя, а опровергнуть — легко. Никакого Нового Света не было бы вообще, если бы не вызревший в тысячелетиях расовых и этнических войн оголтелый, агрессивный, завоевательный, истинно звериный национализм англичан, французов, голландцев, испанцев, португальцев и т.д. То есть представителей старых европейских наций, сформировавшихся еще до открытия Америки и

²⁶ В другом месте снова: «Частью моего первоначального плана было подчеркнуть, что национализм зародился в Новом Свете» (23).

очень-таки националистически поступивших с туземцами.

Да, впоследствии в Новом Свете более или менее компактные общности, имеющие условные этнические границы, но безусловные администрации и экономики, рванули в 1810 г. к суверенитету. Застрельщиками, конечно же, выступили местные элиты (креолы, в терминологии Андерсона), а массы могли поддержать это движение, а могли и не поддержать (недаром Боливар боялся негритянского восстания больше, чем испанских карателей). В итоге эти элиты добились независимости. И для обеспечения своей легитимности и поддержки масс они немедленно пошли на искусственное, декларативное создание вымышленных «наций» — перуанцев, колумбийцев, венесуэльцев и проч., хотя это никакие не нации, а всего лишь согражданства (см. декрет Сан-Мартина).

Все сказанное снова и снова заставляет задаваться вопросом: что же Андерсон понимает под «нациями» и под «национализмом»?

Конечно, если считать нациями французов, американцев (США), бразильцев и других латиносов, то это — таки да! — воображаемые сообщества. Они этнически сложносоставны и при этом не мононуклеарны: государствообразующий, имперский этнос с трудом просматривается уже даже в США, где англо-саксы неуклонно теряют приоритет²⁷.

Но ведь скажем паки и паки: перед нами не нации! Всего лишь согражданства... Это либо представители единой суперэтнической общности — метисы-

латиносы, искусственно разделенные гражданством разных стран. Либо, напротив, этнический конгломерат, стиснутый единым согражданством — французы, американцы США.

Воображаемые сообщества? Да, безусловно! Согражданства? Да, безусловно!

Нации? Нет, безусловно!

Согражданство, конечно, — тоже реальная мотивация к патриотизму, самозащите и солидарности. Но вторичная, искусственная. Это особенно видно в Америке: как в США, так и в Латинской, ибо и там, и там рукотворность населения и государственных границ бросается в глаза. Ни одна из этих стран не возникла естественным путем, не выросла сама из себя, из единого этнического семени, как Китай, Япония, Россия, Швеция или Германия, но были созданы только путем жестоких завоеваний и суровой воли завоевателей вплоть до порабощения и/или геноцида туземцев. В чем и проявлялся, кстати, махровый национализм колонизаторов.

Конечно, живые колонизаторы былых веков были ярыми, убежденными расистами и националистами, четко знавшими и ощущавшими (как и античные работоторговцы когда-то) малейшие расовые и этнические особенности порабощенных народов, их этнические и расовые границы. Ибо такие границы были в реальности. От особенностей национальной психики, национального характера, как и соматики, да и просто от национальных способностей — никуда не деться и не отмахнуться. Так, Андерсон и сам отмечает, что французские колонизаторы твердо знали: «Хотя вьетнамцы не заслуживают доверия и отличаются жадностью, они все-таки заметно энергичнее и умнее по-детски непосредственных кхмеров и лаосцев» (148).

Итак, вновь повторю: есть сообщества воображаемые, искусственные, рукотворные, а есть реальные, естественные, природные. Следует ли именовать

²⁷ Интересный вопрос: почему в Центральной и Южной Америке получился расовый сплав из представителей белой, красной и черной рас, а в Северной Америке из попытки осуществить концепцию «плавильного котла», долженствующего сотворить такой же сплав из несколько иных расово-этнических компонентов, ничего не вышло. Но я отвечаю на него в другом тексте.

те и другие единым термином? Нет, это невозможно, научно неправильно. Почему первым сообществам надо присваивать ярлык «нация»? Это необоснованный произвол в лучшем случае, а в худшем — простое жульничество. Но нужно найти и определить их истинную суть и дать ей приличествующее имя. Такое имя есть: согражданство.

И еще одна важная деталь. Колонизаторы обеих Америк были, вне всякого сомнения, одновременно — империалистами, поскольку воздвигали империи своими завоеваниями, но и крутыми националистами, поскольку утверждали абсолютный и безусловный приоритет своих наций в новых землях: англичане — англичан, испанцы — испанцев, японцы — японцев и т.д. (В меньшей степени это, по понятной причине, относится к французам, которые так никогда и не стали нацией.)

Иногда бывало и так, что колонизацию вела нация (англичане в лице частной Ост-Индской компании в Индии или русские казаки в Сибири, на Кавказе и на Дальнем Востоке), а основной дивиденд в итоге получала династия в лице государства. С этой точки зрения, например, поход Ермака в Сибирь на свой страх и риск — национализм чистой воды, а последующее ее присоединение Москвой — такой же воды империализм.

Возможно, именно по причине этой двойственности процесса Андерсон делает постоянно еще одну ошибку: путает национализм с империализмом то Японии, то Англии, то Испании и т.д. Он именно империализм и государственную ксенофобию склонен (вслед за Сетон-Уотсоном) именовать «официальным национализмом» (124). Забывая, что империя — это вовсе не обязательно национальное государство, а порой и совсем наоборот, его отрицание. И что идеал национального государства — Израиль²⁸, а вовсе не

Великобритания, США, Франция или, тем более, Россия.

Но нам, людям здравомыслящим, андерсоны не указ. До тех пор, пока в русской научной среде останутся люди, признающие, что важнее быть, чем казаться и слыть, я надеюсь, конструктивистам победы не видать.

III. Не сотвори себе кумира

Сумеет ли признать ученость,
Не скатываясь в блудословье,
То, что болезнь и извращенность
Есть форма жизни и здоровья?

Андрей Добрынин

Мода на конструктивизм, поддержанная мощными глобальными политическими силами, полностью захлестнувшая Запад и уже перешагнувшая границы Отечества, самым дурным образом повлияла на нашу умственную традицию. Не говорю уж о таких присяжных конструктивистах, как упоминавшиеся выше В. Тишков или В. Малахов. Но настоящая беда в том, что русские новоявленные теоретики национализма многое усваивают, сознательно или нет, из бредоумствования конструктивистов. По той простой причине, что в своем отечестве пророков, как известно, нет, а на Западе есть толь-

единственная в мире страна победившего этнонационализма. Религия играет в ее идеологии большую роль, но только потому, что это этническая религия. Причем чем дальше, тем больше этническим становится этот национализм. 10 октября сего года, например, правительство Израиля приняло поправку, согласно которой все желающие натурализоваться неевреи обязаны приносить присягу не просто государству Израиль, как раньше, а государству Израиль как еврейскому и демократическому» (*Галкина Елена, Колинченко Юлия*. Блуждающие звезды: нация и идентичность [Занд Шломо. Кто и как избрел еврейский народ. М., Эксмо, 2010] // «ВН». 2010. № 4. С. 235).

²⁸ Рекомендую на данную тему текст: «Государство Израиль — на данный момент

ко то, что есть. Конструктивизм подобен смолянскому чучелке из сказки про братца кролика: если коснуться его неосторожно, оно прилипает.

Каково мне было читать в родном для меня журнале «Вопросы национализма» такую отповедь в мой адрес со стороны его научного редактора Сергея Сергеева:

«А.Н. [то есть я] открыл прямотаки осиное гнездо тайных и явных конструктивистов, свитое ими не где-нибудь, а в теоретическом журнале русских националистов: перечисляются имена Михаила Ремизова, Олега Неменского, Александра Храмова — основных авторов (а первые двое — члены редсовета) «ВН». К этому списку легко добавить Павла Святенкова [тогда уж и Павла Крупкина²⁹] и, скажу ужасную вещь, сам главред Константин Крылов конструктивизмом не брезгует; ну и, наконец, даже союзник Севастьянова по «биологизаторству» Валерий Соловей вполне сочувственно ссылается на какого-нибудь Брубейкера...»!

С сердечным сокрушением читал я этот текст Сергея Сергеева, где он запугивает меня таким массивом сложившегося проконструктивистского лобби. Нашел чем хвастать мой дорогой коллега, нашел чем пугать меня, и не с такими смоляными чучелками бившегося! Но дело оказалось куда хуже. Выяснилось, что Сергеев и сам подпал под тлетворное влияние конструктивизма, проникся его идеями:

«Можно сколько угодно не соглашаться с Геллнером в том, что нации — фиктивные образования, или с Андерсоном в том, что они — «воображаемые сообщества», но игнорировать описанную ими механику нацистроительства значит сознательно зауживать и обеднять себя как исследовате-

ля и оставаться на научном уровне запрошлого столетия...»

Ну, чего стоит описанная конструктивистами «механика нацистроительства», читатель уже имел возможность оценить выше. А Сергеев, увы, продолжает:

«С течением времени я еще больше смягчился к конструктивистам, когда осознал (и в этом мне помогли работы Валерия Соловья и Михаила Ремизова), что конструктивизм не обязательно должен рассматриваться в виде резкой антитезы примордиализму... И что еще более важно: для современных русских националистов конструктивистская методология прагматически необходима, ведь им нужно именно *создавать* русское национальное государство (т.е. в определенных отношениях *конструировать* его), а не ждать, пока оно само естественно-биологическим образом «*родится*»...»

Наконец, с узконаучной, академической точки зрения конструктивизм — хорошо зарекомендовавшая себя (!) и весьма перспективная (!) методология для исторического исследования. Подавляющее большинство научных штудий современных российских историков о русском нацистроительстве и национализме (а сейчас данная тематика переживает явный «бум») написана именно в этом ключе³⁰.

Читать сергеевскую «Апологию конструктивизма» мне было очень обидно — не за себя, разумеется (я всегда открыт для критики, да и не такое о себе читывал), а за русскую науку, которая в лице серьезного, настоящего ученого вдруг увлеклась пустой обманкой, да еще зарубежного изготовления. Прямо какое-то низкопоклонство перед Западом, подумал я не без горькой иронии, читая эту такую «академическую» точку зрения. И содрогнулся, представив, как по «передовой» конструктивистской мето-

²⁹ См.: *Крупкин Павел*. Есть ли шанс догнать ушедший поезд? Национальный проект в России: ключевая проблема старта // «ВН». 2011. № 5. С. 59.

³⁰ *Сергеев Сергей*. Апология конструктивизма // «ВН». 2010. № 4.

дологии мои коллеги начнут строить «русское национальное государство» (впервые в жизни беру это выстраданное словосочетание в кавычки).

Когда я изучал со всем вниманием классиков конструктивизма, меня периодически охватывало чувство досады и стыда: как, думал я, неужели на эту примитивную, глупую до неприличия удочку могли всерьез клюнуть многие русские люди? Они все это цитируют, на эти цитаты опираются, ссылаются как на мировой авторитет, с умным видом размахивая картонным мечом... Я краснел за своих коллег. Если читатель хоть отчасти разделит со мной это чувство, я буду удовлетворен.

Но этого мало. Я хотел бы на паре примеров продемонстрировать, к чему приводит увлечение конструктивистским дискурсом даже явно способных к умственному труду людей. Для такого наглядного пособия я выбрал Михаила Ремизова (коль скоро он оказал сильное влияние на Сергеева) и Александра Храмова, которого я ранее критиковал по другому поводу (чтобы ясны стали корни его тяжелых идейно-политических ошибок).

Известный политолог и философ Михаил Ремизов, позиционирующий обычно в националистическом секторе и даже входящий в редсовет «Вопросов национализма», не избежал влияния конструктивизма, опубликовав весьма яркую, мнимо антиконструктивистскую статью, на деле капитулянтскую от начала до конца³¹.

С чего начинается капитуляция философа? С философских основ, натурально.

Обозначив «псевдодилемму “материализма” и “идеализма”» (с каких пор и кто утвердил приставку «псевдо?»), Ремизов предлагает нам, вслед за Бергером и Лукманом считать, что «главный для социологической теории вопрос может быть поставлен так: каким

образом субъективные значения становятся объективной фактичностью?».

Вот оно — точнее не скажешь! — кредо идеалистов всех времен от самого Платона: самозародившаяся из ниоткуда идея становится реальностью. Хотя любому материалисту ясно, что объективные фактичности по определению существуют независимо от субъективных значений. Понятно, почему Ремизову понадобился тезис на счет «псевдо»дилеммы — чтобы без зазрения совести тут же погрузиться в самый что ни на есть махровый идеализм. Как известно, отрицание феномена ереси — тоже есть ересь. Не успел философ усомниться в правомерности противопоставления материализма и идеализма — и пожалуста, тут же впал в последний, то есть, на мой взгляд, капитулировал.

Коготок увяз — всей птичке пропасть. Дальнейшее извращение идей, понятий и методов теперь уже только дело времени. Ничего удивительного, что при этом в ход вновь и вновь идет аргументация *ad hominem*, бесконечные ссылки на авторитеты, по большей части мнимые. Например:

«Национализм слывет фальсификатором и фантазером, который помнит то, чего не было, и забывает то, что было. Эту причудливую избирательность — впрочем, неизбежную для человеческой памяти, что личной, что исторической — отчасти признают и сами националисты. Нация есть сложный баланс между коллективным опытом воспоминания и коллективным опытом забвения, — говорил Эрнест Ренан».

Для просвещенного националиста подписаться под словами Ренана — уже значит выкинуть белый флаг перед конструктивистами. А тем более в таком контексте.

Лукавый Ренан, которому нужно было на живую нитку сшить для публики фантомную французскую нацию, воистину воображенное сообщество, — он, конечно, был по-своему

³¹ Ремизов Михаил. Нация: конструкт или реальность? // ВН. 2010. №1.

прав, призывая Францию к забвению Варфоломеевской ночи или геноцида альбигойцев. Ибо отлично известно, что религиозный раскол на католиков и протестантов проходил в этой стране практически по субэтническим границам и что альбигойцы тоже были этнически иными и говорили на провансальском и каталонском языках, в отличие от их убийц! Как политический писатель Ренан сознательно закрывал на это глаза, хотя как ученый, особенно историк, он не имел права ни сам забывать об этом, ни, тем более, призывать других к такому забвению³².

Но нам-то, националистам, к чему следовать дурному примеру? И уж совсем незачем со странным кокетством признаваться в грехах, которых мы не совершали, ведь чей грех — того и молитвы. А нам пока не в чем каяться.

Следующим авторитетом оказался вельможный доморощенный оберконструктивист Валерий Тишков, ссылаясь на коего, Ремизов утверждает, что примордиализм «бытовал, главным образом, в советской традиции и, как не трудно догадаться, должен быть преодолен (с какой стати? только потому что “советская” — хотя уместнее было бы слово “отечественная”? — А.С.) критической тенденцией конструктивизма, который рассматривает этническое чувство, не говоря уж о формулируемых в его контексте мифах и доктринах, как “интеллектуальный конструкт, как результат це-

ленаправленных усилий верхушечного слоя”».

Снова белый флаг! И уже откровенный переход в стан противника.

Для вида покритиковав затем конструктивистов за «отчетливо механистический стиль мышления» и с уместной иронией причислив конструктивизм к «той же выражающей дух времени тенденции, что и “гендерные исследования”, стратегия которых общеизвестна: “обнаруживая”, что пол является социологическим артефактом (результатом “внедренных” моделей восприятия), они незамедлительно обрастают эмансипаторским пафосом и поступают на вооружение активистов “лиги сексуальных реформ”», Ремизов затем отступает в главном перед теми, кто отрицает объективность рас и этноса. Хоть они ничем не лучше тех, кто замахивается на объективность пола.

Ласково именуя конструктивистов «санитарами этногенеза», он пишет: «Конструктивистская критика, сколь бы серьезной она ни была, настигает попытки этнонациональной символической мобилизации лишь в той мере, в какой они оказываются безуспешными и беспочвенными. То есть постольку, поскольку они не подкреплены настоящей творческой мощью коллективного воображения, и именно оттого субъективны, натянуты, манипулятивны, волюнтаристичны».

Итак, все дело оказывается, все-таки, в коллективном воображении, которое может быть более или менее мощным. И только в зависимости от этой мощи оно подвержено разрушительной критике конструктивистов. То есть, если конструкт (каковым таки является нация) сконструирован коллективным воображением хорошо, крепко, то ему и конструктивисты не страшны.

Замечательная логика, утверждающая конечную правоту конструктивистов через видимость отпора оным. Капитуляция в чистом виде! Но сколь иезуитская притом!..

И следом — дифирамб «санитарам»,

³² На Ренана ссылается и Андерсон: «Забвение — существенный фактор в формировании нации». Попробовал бы он сказать такое евреям, которые с малолетства твердят своим детям как заклинание: «Помни! Не забывай!» (после чего следует перечисление всех основных приключений еврейского народа от Адама, которого они считают первым евреем на Земле). На этом девизе держится уже 3000 лет все еврейское национальное воспитание, а на нем, в свою очередь, — вся долгожительствующая еврейская нация со своим образцовым национализмом. И нам пример подает.

которые «даже могут быть полезны», ибо способны «отсеивать анемичные промежуточные формы». После чего автор, несколько, на мой взгляд, недальновидно и неосмотрительно, приводит примеры анемичности, за которыми «далеко ходить не будем. Можно вспомнить об активистах “Ингерманландии” или “казачьей идеи” (в ее этносепаратистском изводе) или о любых других энтузиастах альтернативной этноистории».

Что бы он сказал, интересно, насчет энтузиастов «альтернативной этноистории» украинцев (малороссов), над которыми лет сто пятьдесят назад столь же основательно мог бы посмеяться тогдашний Ремизов? Или белорусов, над аналогичными энтузиастами в среде которых тоже кое-кто сегодня посмеивается, уповая на их генетическую идентичность с русскими? Вряд ли их можно признать такими уж анемичными. И очень ошибается тот, кто считает сегодня несерьезным явлением потихоньку растущие казачий, поморский, сибирский (и т.д.) сепаратизмы. Их анемия — до поры до времени, как мина замедленного действия.

Такое прекраснородушие и беспечность не граничат ли с легкомыслием, читатель? Нам следует поблагодарить Ремизова за наглядную демонстрацию крайней политической опасности, таящейся даже в малейшей уступке конструктивизму.

Логика внутренней позиции философа-идеалиста Ремизова ведет его шаг за шагом к полному слиянию с объектом его якобы критического анализа. Вслед за Ренаном и Тишковым к списку аргументов *ad hominem* добавляются, наконец, вполне закономерно, основные герои данного эссе.

Вот уже оказывается, что «известный слоган “конструктивизма” — тезис Геллнера о том, что национализм создает нации, а не наоборот,.. вполне может быть истолкован в духе националистической теории. Определив нацию как приведенный к “истори-

ческому бодрствованию” народ, мы будем вправе утверждать, что именно акт действенного самосознания, какковым претендует быть национализм, и создает собственно нацию (то есть превращает нацию-в-себе в нацию-для-себя). Вообще, национализм как таковой необходимо включает в себя конструктивистский посыл».

Почему нацию нужно определять как приведенный к историческому бодрствованию народ, почему национализм есть акт действенного самосознания, да еще включающий в себя конструктивистский посыл, знает, очевидно, только сам Ремизов, для которого, как для всякого идеалиста, любое сознание первично. Для всей этой категории мыслителей нация — есть некий рукотворный Голем, который, поскольку маги-каббалисты (конструкторы) в него уже вдохнули жизнь, в дальнейшем живет и действует вполне сам по себе и заставляет считаться с собой как с реальностью. Хотя изначально реальностью не был.

Перед нами, конечно, вновь — полная, стопроцентная капитуляция перед конструктивистами под видом противодействия им и критики их теорий. Ибо вышеприведенный тезис Геллнера «в духе националистической теории» может быть истолкован только как шизофренический бред, но именно такого толкования наш автор тщательно избегает.

Он делает вид, что «более жесткая редакция тезиса» Геллнера («национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует») — это уже недопустимый для него перебор. Польстив попутно Геллнеру, назвав его «историком» (какой он историк?), Ремизов как бы порицает отрицание Геллнером наций. Но с каких позиций?! Следом он абсолютно голословно утверждает:

«Действительно, никакого внятного комплекса национальной идентификации в среде тех, кто в следующем исторический миг возопит о своем

единстве, может в принципе не наблюдаться. (?!) Это с легкостью признает и националистическая теория. (?!) Но нельзя отрицать — и Геллнер не отрицает, — что «первый националист» (если согласиться вообразить такую фигуру) находит уже существующим определенный набор дифференцирующих признаков, на основе которых будет создана его перерастающая в политическое требование стилизация».

Вообще-то на языке науки «набор дифференцирующих признаков» Ремизова есть не что иное, как комплекс этноразграничительных маркеров — вещь абсолютно объективная и интеллигибельная. Если он кем-то «не наблюдается» — проблема лишь в оптике или умственных способностях наблюдателя. А вот что такое «первый националист» и на каком основании он сочиняет некие «стилизации», перерастающие в «политические требования», об этом хотелось бы получить разъяснения у автора, желательно с историческими примерами, но он их не дает. Непонятно также, что может вдруг «найти» этот первый националист, если «в принципе не наблюдается» «комплекс национальной идентификации»?

Скверно во всем этом то, что данные формулировки, как ни крути, подразумевают в качестве нормы (!) не вполне честный трюк, с помощью коего некто может выдумать, «стилизовать», нацию, то есть опять-таки подтверждают конструктивистскую парадигму.

Отсюда и выдуманная Ремизовым дилемма (которую на сей раз уже я склонен считать «псевдодилеммой»): является ли «пришествие национализма» моментом «пробуждения» или «изобретения» нации?

Какой же ответ дает Ремизов? Такой, какого меньше всего можно было бы ожидать от сколько-нибудь мыслящего тростника: «Это лежит вне компетенции ученого».

Ну просто в точности как Хобсбаум, торжественно признавшийся в онтологическом бессилии определить нацию!

И дальше, полностью и совершенно открыто солидаризовавшись с Бенедиктом Андерсоном («на самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень... — воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются»), Ремизов подтверждает: «Да, мы должны вести ориентировку по стилям, в которых работают агрегаты коллективного воображения».

О том, являются ли нации — воображаемыми сообществами, спор здесь даже не идет: конечно, являются, а как же иначе? По мнению Ремизова: «На долю методологов остается лишь один вопрос: если нация — “воображаемое сообщество”, то может ли ученый мыслить нацию иначе, чем воображая ее заодно со всеми? Я полагаю, что ответ может быть только отрицательным».

Зря автор так ограничивает возможности «ученого» (без кавычек в данном случае употребление этого слова неуместно). Это почему же вдруг? Ведь стоит только допустить, что нация есть плод воображения, как ничем уже ограничить этот процесс не удастся: наций будет столько, сколько участников процесса, у каждого — своя, им воображенная. Таково неизбежное логическое следствие конструктивистской посылки. Ибо субъективный идеализм (а мы имеем дело именно с ним, притом в злокачественной форме) базируется только на идеях самого субъекта. Сколько субъектов — столько идей. А то и более, поскольку количество идей у одного субъекта тоже ничем не ограничено.

Таким образом, если довести изложение статьи Ремизова до логического завершения, чего он сам успешно избегает, можно резюмировать: все дело в дефинициях. Дальнейшее лишь дело умственной изворотливости. Объявите, что нация — это особый вид чемодана или удочки (или вообще что угодно, кроме того, чем она является на самом деле), и вам будет несложно

затем доказать, что нация может быть только воображаемым чемоданом или удочкой.

Но беда в том, как мы убедились, что когда доходит до дефиниций, вот тут-то конструктивисты, как зарубежные, так и отечественные, пасуют самым жалким образом. Потому что с доказательствами у них дело обстоит из рук вон плохо. Недоказуемое никак не доказывается.

Тут самое время перейти от Ремизова к его младшему коллеге Александру Храмову — протеже Крылова и Сергеева. Его политическую концепцию мне уже приходилось характеризовать весьма подробно. Основной вывод был малоутешителен: перед нами энциклопедия расхожих, но недостоверных сведений, а также заблуждений разной степени добросовестности на тему русской истории, русского национального государства и вообще русского народа.

Задача данного фрагмента моего эссе в том, чтобы вскрыть гносеологические корни, вскормившие вышеуказанные плоды храмовского творчества.

Их искать недолго. Храмов например, свою статью об истории Российской Федерации основывает на таком, хорошо уже нами изученном краеугольном камне: «Национализм — это прежде всего политический принцип, согласно которому политическое и национальное единство должны совпадать». Так начинается свою знаменитую книгу Э. Геллнер».

Это заявление — своего рода присяга, оммаж вассала — сеньору, чьи цвета он разместил на своем щите³³.

³³ Характерно, что еще один поборник «федерализации во имя демократизации» — Виктор Ковалев из Сыктывкара — опирается на тот же «авторитет»: «Нации (как считал, например, Э. Геллнер) создаются национализмом. Каким же может быть в России такой — созидающий политическую нацию и современное государство — национализм? Только русским...» (Ковалев Виктор. Федерализм «до востребования». Отечественный

Но еще характернее высказывания Храмова в его концептуальной статье «Национализм и модернизация. Теория и перспективы либерального национализма»³⁴. Основной пафос статьи — это послание либеральному лагерю: мы одной крови, между нами больше общего, чем различий, наша дивергенция — лишь дело времени. Автор даже пытается смоделировать своего рода гибрид: либеральный национализм (до и за него это уже пытались сделать педагоги Высшей школы экономики — «осинового гнезда российского либерализма»³⁵). Словом, на светлый облик русских националистов Храмов попытался натянуть овечью шкурку, чтобы либералы, от союза с коими юный политик чаёт многих благ, не шарахались в испуге.

Ясно, что в таком контексте конструктивизм имеет быть понят и публично трактован только с положительными коннотациями: «Именно в свете конструктивистской парадигмы концепция либерального национализма обретает завершенность».

Безоговорочное письменное принятие конструктивизма со стороны Храмова выполняет роль своего рода верительных грамот в такой «народной дипломатии»: «Только в последние десятилетия XX века усилиями Э. Хобсбаума, Э. Геллнера, Б. Андерсона и других исследователей национализма, разработавших т.н. «конструктивистскую парадигму», стало понятно, что нации появились (были «изобретены») совсем недавно, в начале XIX века».

Вот и все, просто и мило. Оммаж и

опыт федеративного взаимодействия Центра и регионов: прошлое, настоящее и будущее // «ВН». 2010. № 4). Распространенное заблуждение, как видно.

³⁴ См.: «ВН». 2010. № 2.

³⁵ См.: Сидорина Т.Ю., Полянников Т.А. Национализм. Теории и политическая практика. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. Мою развернутую рецензию на эту книгу можно прочесть в «ВН», № 4, 2010.

верительные грамоты принесены по полной формуле и процедуре. Храмов «все понял»! Спасибо учителям! Слава конструктивизму!

А чтобы не сомневались, что он действительно все понял, Храмов транслирует основные идеи конструктивистов: «Согласно известному тезису Геллнера, не “нации порождают национализм, а национализм — нации”. Некорректно утверждать, будто нации “складывались”, “вызревали” на протяжении столетий и лишь “пробудились” в XIX веке, это существенно искажает историческую перспективу. Нет, нации — продукт эпохи Модерна, пришедший на смену религиозным, локальным, племенным идентичностям предшествующих эпох. Нация начинается вовсе не с народной иррациональной стихии, а с группы интеллектуалов, придумывающих концепцию нации и распространяющих ее через систему образования, через газеты и популярную литературу».

Не знаю, удовлетворится ли Сергей Сергеев этой храмовской декларацией, этим не критическим перепевом всего того идейного хлама, который мы подробно анализировали выше. Ну, а для Михаила Ремизова она, я думаю, прозвучит обыденным эхом его собственных рассуждений. Тем более что Храмов резюмирует совсем в его вкусе, только более отчетливо и менее замысловато: «Впрочем, то, что нации сконструированы, вопреки мнению многих, вовсе не означает, что их вообще “не существует”. Напротив, нации существуют именно потому, что они были изобретены». Вот и Ремизов точно так же считает. Основательность этих умозаключений читатель мог оценить на предыдущих страницах.

Я не хочу далее отвлекаться на этот более чем ясный сюжет. *Sapienti sat*. И намерен завершить тему однозначным выводом, который явственно напрашивается из всего сказанного.

Мне хотелось бы, чтобы все мыслящие тростники поняли раз и навсегда:

вопросы нации, национализма и нациестроительства в принципе не решаются методами спекулятивной философии, это просто не ее компетенция. Доступ к сейфу с национальными секретами имеют только серьезные историки, а еще лучше — глубокие историсоффы³⁶. Между последними, конечно, могут быть свои разногласия, но это, по крайней мере, олимпийский разговор и олимпийские счета.

Прошли времена бердяевых и ильиных, чьи личные умозрительные построения могли иметь вес в просвещенном обществе. Сегодня в России (про Запад не говорю, там другие традиции) наука мнений более не имеет права на существование. За советский период мы прошли очень жесткую школу приоритета знаний и фактов, ибо такова была главная форма идейно-политического противостояния подлинной науки — своре псевдоученых, осуществлявших диктат «научного» коммунизма. Это наше завоевание, расставаться с которым нельзя. Приди к нам сегодня новый, остроумнейший в мире, Бердяев или Ильин, мы встретим его как безответственного и никчемного болтуна.

Таковыми болтунами и предстают сегодня столпы западного обществоведения.

Делать из них идолов передовой мысли — рубить самим себе голову.

Идолы того не стоят.

³⁶ Понятное дело, Геллнер, Хобсбаум и Андерсон вряд ли относятся к их числу. Здесь требуется владение историей — «практической философией, учащей нас с помощью примеров», по словам лорда Боллингброка. Плюс, при переходе от теории к практике, умение наработанные историсофские концепции выражать языком юридических формул, поскольку государственное строительство другого языка не признает. Но названные идолы конструктивизма ни тем, ни другим не могут похвастать.